ЧУЖАЯ НОЧЬ

КНИГА 1

ВОСХОЖДЕНИЕ



ДОБРЫНЯ ДЕМИДОВ

16+

Добрыня Демидов

Чужая ночь. Книга 1. Восхождение

«Автор»
2026

Демидов Д.

Чужая ночь. Книга 1. Восхождение / Д. Демидов — «Автор», 2026

В Мериде ночь стоит двадцать кредитов. Бедные продают свой быстрый сон, а богатые учатся за одну чужую ночь и забывают собственные кошмары: их досматривают доноры, пока не теряются в тумане. Шестнадцатилетняя Мария Колосова тайком продаёт ночи, чтобы выкупить долг матери, ведь через сорок шесть дней он перейдёт к её младшему брату. У Марии есть тайна, за которую забирают без суда: в чужих снах она не спит. Единственный шанс спасти брата — Восхождение, отбор, после которого десять победителей уходят наверх, а их семьи забывают о долгах. Сто кандидатов, глаза всего города и юноша с верха, чью самую страшную ночь Мария уже видела. Чтобы победить, ей придётся показать Мериду всё, на что она способна. Чтобы выжить — не показать главного.

© Демидов Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 6
Глава 2 15
Глава 3 24
Глава 4 33
Глава 5 42
Г 51
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Добрыня Демидов
Чужая ночь. Книга 1. Восхождение

Все события и персонажи вымышлены.

Глава 1

В ту ночь я продала свой сон в сто двадцать третий раз. Я считала всё, что поддавалось счёту, потому что числа не умели ни жалеть, ни обманывать. От нашего дортуара до старой прачечной было четыреста восемнадцать шагов, если идти дворами и не сворачивать к реке. Мама к тому времени была должна «Гипносу» двести шестьдесят ночей, а до пятого мая оставалось сорок шесть дней.

Седьмая Низина в этот час уже спала по графику. За тонкими стенами дортуаров дышали сотни людей, и это дыхание стояло над кварталом ровным гулом, похожим на шум далёкой воды. Свет горел только на станции «Гипноса» у старого моста, где над белыми дверями висел синий полумесяц. Его было видно из любого окна нашего округа, и в детстве я думала, что это настоящая луна, которую власти повесили пониже, чтобы беднякам было не так темно.

Я шла вдоль Шлюзов, где вода стояла в затопленных подъездах до третьего этажа и пахла ржавчиной. Март в тот год выдался сырым, туман поднимался от реки и оседал на перилах мелкими холодными каплями. Я держала руки в карманах куртки и по привычке трогала пальцами висок, то самое место, куда через полчаса ляжет обруч. Кожа там была гладкой и чуть припухшей, словно от старого синяка, который никак не может сойти.

У поворота к прачечной я услышала шаги и мягкое жужжание фонаря. Двое из Надзора отдыха шли по набережной неторопливо, как ходят люди, которым некуда спешить и некого бояться. Я отступила под лестницу затопленного подъезда и замерла, прижавшись спиной к мокрому бетону.

Перед ними, шагах в двадцати, брёл мужчина в одной рубашке, босой, несмотря на мартовский холод. Он шёл посреди набережной и тихо разговаривал сам с собой, иногда останавливаясь и протягивая руку к чему-то, чего никто, кроме него, не видел. Я знала таких, в Седьмой Низине их встречали почти каждую неделю, и всякий раз у меня холодело внутри, потому что так начинались плохие мамины ночи.

— Гражданин, — сказал один из надзорщиков ровным, почти ласковым голосом. — Вам нужен отдых. Пройдёмте на станцию.

— Там море, — ответил мужчина и показал на тёмную воду в подъездах. — Вы разве не видите? Там же море.

Его взяли под руки бережно, словно он был стеклянным, и повели к мосту, где горел синий полумесяц. Он не сопротивлялся и всё оглядывался на воду, будто боялся, что море уйдёт без него. Я дождалась, пока шаги затихнут, сосчитала до шестидесяти и только потом вышла из-под лестницы.

Затуманенных, у которых не было семьи, «Гипнос» оставлял у себя, и никто в Низинах не знал наверняка, что с ними происходит дальше. Говорили, что их кормят, моют и укладывают спать в чистые постели, и что там они наконец высыпаются. Мне очень хотелось в это верить, но я не верила.

Прачечная закрылась ещё до моего рождения, но её подвал жил своей ночной жизнью. Вывеску с выцветшими буквами никто не снимал, а дверь в подвал пряталась за мусорными баками, от которых несло кислым. Я постучала три раза, потом ещё один, как учила Даша. Через минуту внутри тяжело звякнул старый засов.

— Опаздываешь, — сказала Даша и посторонилась, пропуская меня в тёплую темноту. — Сава уже два раза спрашивал.

— Я считала шаги.

— Ты всегда считаешь шаги. Это не причина опаздывать.

Даше было пятнадцать, и она работала у Савы смотрящей: сидела ночами возле спящих доноров и следила, чтобы никто не захлебнулся собственным кошмаром. Она была маленькая,

остроносая, с косой, которую заплетала так туго, что у неё, кажется, болели виски. Ей полагалось молчать обо всём, что она видела в подвале, и молчала она лучше всех в Седьмой Низине. Только со мной она иногда разрешала себе лишнее слово.

Я пришла к Саве в сентябре, через месяц после своего шестнадцатилетия. Продавать сон до семнадцати лет запрещал регламент, но Саву регламенты не интересовали, его интересовало только, чтобы донор спал тихо и не задавал вопросов. Мне было всё равно, что запрещено, потому что весной маму признали затуманенной и её долг в четыреста двадцать ночей повис над нашей семьёй, как мокрая простыня над койкой. Этот долг мама набрала за годы после ухода папы, когда брала на станции кредиты вперёд, под свои будущие ночи, чтобы кормить нас с Тимом. С тех пор я выкупила сто шестьдесят ночей и знала каждую из них в лицо.

В подвале было тепло от старых труб, которые тянулись под потолком и тихо гудели. Вдоль стены стояли шесть раскладушек, и на четырёх уже лежали люди с обручами на головах. Я узнала тётку Рябову из соседнего корпуса и двух братьев-грузчиков с завода, а четвёртого, старика в вязаной шапке, видела впервые. В углу на столе стояла шкатулка, ради которой сюда и приходили: чёрный ящик размером с хлебницу, опутанный проводами, с рядом зелёных огоньков на крышке.

Сава сидел за тем же столом и считал кредиты, раскладывая монеты стопками по десять. Ему было лет пятьдесят, у него были тяжёлые руки и лицо человека, которого уже ничем нельзя удивить. Он поднял на меня глаза, кивнул на свободную раскладушку и снова уткнулся в свои стопки.

— Сегодня хороший клиент, — сказал он, не поднимая головы. — Сверху. Тебе тридцать, как всегда.

— Сверху? — переспросила я.

— Тебе какая разница? Ночь есть ночь.

Разница была, хотя объяснить её Саве я бы не смогла. Сверху почти никогда не приходили на чёрный рынок, им незачем было прятаться, ведь в Зените любую ночь покупали открыто, по регламенту, в белых кабинетах с мягким светом. Тот, кто покупал чужой сон через линию шкатулки в подвале заброшенной прачечной, хотел, чтобы о его ночи не узнал никто на свете. Такие ночи обычно оказывались самыми тяжёлыми.

— Через пять дней список, — сказала Даша, пока я снимала куртку. — Ты ведь в этом году проходишь по возрасту.

— Прохожу, — ответила я. — Только кто возьмёт в Восхождение донора с чёрного рынка? У меня сомнограмма, наверное, как у старухи.

— Кирилл говорит, что его возьмут обязательно. Он уже придумал, какую квартиру попросит в Зените.

— Кирилл так говорит каждый год.

Кирилл и правда говорил так каждый год, с тех пор как нам исполнилось по двенадцать и мы впервые смотрели трансляцию Восхождения на большом экране в общем зале. Он мог часами рассказывать, как будет жить наверху, и я слушала, потому что его голос был единственным в Седьмой Низине, в котором не было усталости. Сама я в Восхождение не верила, как не верила в чудеса, лотереи и обещания со станционных плакатов.

Я легла на раскладушку, и она скрипнула подо мной знакомым жалобным звуком. Даша надела мне на голову обруч, поправила его над ушами и прижала холодные пластины к вискам. Пластины всегда сначала обжигали холодом, а потом становились тёплыми, как чужие ладони. Я закрыла глаза и начала считать.

У нас оставалось двести шестьдесят ночей долга. Сорок шесть дней отделяли нас от пятого мая, от дня, когда Тиму исполнится двенадцать и регламент переведёт мамин долг на него. Детская ночь засчитывалась за две взрослые, поэтому «Гипнос» всегда выбирал млад-

ших: так долг гасился вдвое быстрее, и никто не находил в этом ничего страшного. Я знала это с детства, так же твёрдо, как цену ночи и возраст графика.

Даже продавая каждую ночь, я получила бы за сорок шесть ночей тысячу триста восемьдесят кредитов. На эти деньги можно было выкупить шестьдесят девять ночей маминого долга, и ещё сто девяносто одна ночь оставалась бы за нами. Я пересчитывала это каждый вечер, надеясь, что где-нибудь ошиблась, и каждый вечер числа упрямо сходились.

Огоньки на шкатулке, наверное, уже мигнули, соединяя меня с кем-то, кого я никогда не увижу. Где-то наверху, в доме с тёплыми полами, человек надел свой обруч и лёг, чтобы отдать мне то, что не хотел нести сам. Я сосчитала до ста, потом до двухсот, и на двести тридцать седьмом вдохе подвал исчез.

Обычные доноры не помнят чужих снов. Они просыпаются тяжёлыми, с привкусом железа во рту и смутным страхом, у которого нет ни лица, ни имени. Мама рассказывала, что в первые годы после проданных ночей у неё оставалось только чувство моря, хотя она никогда его не видела, а потом море превратилось в чёрную воду, из которой тянулись руки. Со мной всё было иначе, и я поняла это ещё в сентябре, на своей первой проданной ночи.

На самом деле я никогда не засыпала по-настоящему. Чужой сон обступал меня со всех сторон, но я оставалась в нём собой: помнила своё имя, подвал, раскладушку и Дашу, которая сидела рядом. Я видела то, что видел покупатель, а вместе с этим видела края, то место, где сон переходил в память. Иногда я даже могла отступить на шаг и посмотреть на чужой сон со стороны, как смотрят на сцену из тёмного зала. Об этом я не рассказывала никому, потому что в Низинах о таких, как я, рассказывали только страшилки.

В ту ночь я оказалась в белом доме. Свет там был ровным, без теней, и шёл как будто отовсюду сразу, от стен, от потолка, от гладкого пола. Простыни на широкой кровати были прохладными и тяжёлыми, о такой ткани мама рассказывала, когда вспоминала, как в молодости работала прачкой в Поясе. За высоким окном зеленел сад, разбитый прямо на крыше, и над деревьями висело чистое утреннее небо.

В светлой комнате было двое молодых людей. Старший сидел в кресле у окна, светловолосый, лет двадцати пяти, в домашней рубашке с закатанными рукавами. Он смотрел в сад так, словно видел там что-то очень далёкое и совсем неинтересное. Младший стоял на коленях у самого кресла, лицом к лицу с братом, и держал его за плечи.

Ему было лет семнадцать, у него были такие же светлые волосы и такое же спокойное лицо, только спокойствие это держалось из последних сил. Я видела это по рукам: пальцы впивались в плечи брата так, будто тот мог упасть в пропасть прямо из кресла. Всё, что юноша не позволял себе показать лицом, жило у него в руках.

— Глеб. — Он придвинулся к брату ближе. — Посмотри на меня. Это я.

— Помнишь змея? — Слова у младшего бежали одно за другим, словно он боялся не успеть. — Красного, с длинным хвостом. Мы запускали его вот здесь, с этой крыши, он зацепился за антенну, и ты полез за ним, а отец потом неделю с тобой не разговаривал. Помнишь?

Старший медленно перевёл взгляд с сада на брата и долго смотрел ему в лицо, как смотрят на прохожего, который показался знакомым. В его глазах что-то шевельнулось, далеко-далеко, будто в глубине тёмной воды мелькнула рыба. Через секунду это исчезло, и он снова отвернулся к окну.

— Я устал, — ответил старший, глядя сквозь него в сад. — Я просто очень устал.

Он сказал это ровным, вежливым голосом, каким говорят с незнакомыми людьми. Я знала этот голос, хотя никогда не слышала его раньше: так говорила мама в свои плохие дни, когда называла меня чужими именами из чужих снов. Это была не усталость, а туман, и я узнала бы его где угодно, хотя всю жизнь слышала, что наверху тумана не бывает.

Боль младшего ударила меня под рёбра, тупая и огромная, как будто внутри провернули тяжёлый ключ. Это была не моя боль, но во сне границы между нами не существовало, и я

чувствовала её целиком, до самого дна. Он любил брата так, как я любила Тима, и смотрел, как тот уходит, не двигаясь с места.

За закрытой дверью послышались шаги, а потом мужской голос, низкий и совершенно спокойный. Он говорил с кем-то в коридоре, и слов я почти не разобрала, кроме последней фразы. Она прозвучала отчётливо, словно её произнесли у меня над самым ухом.

— Так было нужно.

Младший вздрогнул и разжал пальцы. Сон дрогнул вместе с ним, стены поплыли, свет стал резким и белым, как в окнах станции «Гипноса». Я почувствовала, что меня тянет прочь, к краю, туда, где кончалась чужая память и начиналась моя собственная темнота.

У меня было своё правило: в чужом сне ничего не трогать и ни с кем не говорить. Я не знала, что случится, если его нарушить, и не хотела этого знать. Тем не менее в ту ночь мне впервые захотелось подойти к этому юноше и сказать ему, что его брат ещё здесь, просто очень далеко. Я осталась на месте, и сон сомкнулся надо мной, как вода.

* * *

Проснулась я от того, что Даша трясла меня за плечо. В подвале горела единственная лампа под потолком, и её жёлтый свет резал глаза после белизны чужого дома. Обруча на мне уже не было, а на висках остались два влажных холодных пятна.

После проданной ночи всегда наступала пустота, и я так и не научилась к ней привыкать. Тело было тяжёлым, будто я всю ночь таскала мешки с мокрым бельём, а голова оставалась пустой и звонкой, как вымытая кастрюля. Своих снов у меня не было уже полгода, даже в те ночи, когда я спала дома без обруча, и иногда мне казалось, что вместе с ними из меня понемногу вынимают что-то ещё.

— Ты опять спала как убитая, — сказала Даша, протягивая мне кружку с тёплой водой. — Даже не шевелилась. Остальные хоть стонут.

— Повезло с клиентом, — соврала я.

— Ну-ну. — Даша посмотрела на меня внимательно и больше ничего не спросила об этом. — Как мама?

— По-разному, — сказала я. — Вчера узнала Тима, а меня весь вечер звала Лидой. Я не знаю никакой Лиды.

— Это из чужих снов, — кивнула Даша. — У моей бабки так было под конец. Она всё про какой-то сад рассказывала, которого у нас сроду не было.

Остальные доноры уже поднимались, медленно, как старики, хотя братьям-грузчикам не было и тридцати. Тётка Рябова сидела на краю раскладушки и смотрела в стену, шевеля губами, а потом встала и ушла, ни с кем не попрощавшись. Старик в вязаной шапке всё ещё спал, и Даша не стала его будить, только поправила на нём одеяло.

Сава отсчитал мне тридцать кредитов, по одной монете, и сложил их стопкой на краю стола. Он делал так всегда, словно хотел, чтобы я видела каждую монету и понимала, за что её получила. Я сгребла кредиты в ладонь и почувствовала, какие они холодные.

— Клиент доволен, — сказал Сава. — Просил тебя ещё раз. Через неделю.

— Кто он?

— Я не спрашиваю. — Сава наконец поднял на меня тяжёлые глаза. — И тебе не советую. Кто спрашивает, того потом спрашивает Надзор.

Я вышла на улицу, когда над Шлюзами только начинало сереть. Туман лёг ещё ниже и закрыл воду в подъездах, так что затопленные дома казались стоящими на облаке. Синий полумесяц над станцией бледнел в рассветном небе, и вместе с ним гасли окна дортуаров, где заканчивалась ночная смена сна.

Обратно я снова считала шаги, но сбилась на двухсотом и начала заново. Мысли всё время возвращались в белый дом, к юноше на коленях и к его рукам, которые держали брата

так крепко, словно могли удержать. Я пыталась вспомнить его лицо и с ужасом понимала, что помню его лучше, чем лица соседей, с которыми прожила рядом всю жизнь.

Тридцать кредитов в кармане означали полторы ночи маминого долга. Двести пятьдесят восемь с половиной, поправила я себя, хотя регламент половинок не признавал и выкупал ночи только целиком. До пятого мая оставалось сорок пять дней.

Под рёбрами у меня всё ещё лежала чужая боль, тяжёлая и тупая, как камень, который забыли вынуть. Обычно чужое уходило из меня к полудню, растворялось в работе, в Тиме, в маминых плохих и хороших часах. Эта боль не ушла ни к полудню, ни к вечеру. Ночью, лёжа на своей койке между мамой и Тимом, я поняла, что больше всего на свете хочу узнать, удалось ли тому юноше докричаться до брата.

* * *

Наш корпус стоял третьим от реки, и его серую стену с облупившимся номером «7-14» я могла бы найти с закрытыми глазами. Утром в двери дортуаров входили одни люди и выходили другие, поэтому на лестнице всегда толпились, вздыхали и молча уступали друг другу дорогу. Ночная смена сна спускалась вниз, к заводам и баржам, а дневная, отработав ночь, поднималась выше, в спальни пятого и шестого этажей, где окна завешивали чёрной тканью. Я протиснулась между ними с кредитами в кулаке и поднялась на четвёртый этаж.

На двери нашей спальни висел лист под мутным пластиком, который меняли каждый понедельник. Там было напечатано крупными буквами: «Спальня 4-2, сорок мест, ночная смена сна с 22:00 до 6:00, подъём в 6:30». Ниже шли фамилии в два столбца, и напротив каждой стояли номера коек и маленькие синие полумесяцы, отмечавшие ночи по донорскому графику. Напротив фамилии Колосовых полумесяцев не было с прошлой весны, и от этой пустоты мне всегда становилось одновременно легче и страшнее.

Дортуаром у нас называли весь корпус, от подвала до крыши, а спальни внутри него были похожи одна на другую, как наши койки. Внутри стояли сорок железных коек в четыре длинных ряда, проход между рядами был таким узким, что двое могли разойтись только боком. Над каждой койкой с потолка свисал провод в серой оплётке, и на конце у него болтался разъём для обруча, а сами провода сходились в широкий короб, который тянулся под потолком к окну и дальше по улице, к станции у моста. В ночи по графику разъёмы оживали и тихо щёлкали, когда взрослые подключали обручи, и вся спальня засыпала разом, в одну и ту же минуту.

Наши три койки стояли в третьем ряду, изголовьями к простенку между окнами, почти посередине. Слева от мамы спал дед Захар, который всю жизнь проработал на шлюзовых насосах и теперь кашлял так, что дрожала железная спинка. Справа от Тима спала семья Луневых из пяти человек, и их младшая дочь по ночам скрипела зубами так громко, будто грызла орехи. Мы жили между чужими людьми всю мою жизнь и знали их сны по звукам, хотя не знали, кому эти сны на самом деле принадлежат.

Соседи уже вставали, кто-то натягивал сапоги, кто-то шёпотом ругался из-за очереди к умывальнику. Мама сидела на своей койке, поджав ноги, и смотрела на свои руки так внимательно, словно видела их впервые. Тим ещё спал, уткнувшись лицом в подушку, а над его изголовьем углём были нарисованы улицы, мосты и маленькие квадратные дома.

— Мам, — позвала я и села рядом. — Это я. Я пришла.

Мама подняла голову и улыбнулась мне вежливо и светло, как улыбаются в очереди незнакомому человеку. От этой улыбки у меня всегда сжималось горло, потому что она была красивой и совершенно пустой. Потом её взгляд дрогнул, ушёл куда-то вглубь и вернулся уже другим.

— Маша, — сказала она и коснулась моей щеки холодными пальцами. — Ты замёрзла. Где ты была всю ночь?

— Работала, — ответила я. — Помогала в прачечной.

— В прачечной хорошо, там тепло. — Мама кивнула, и я поняла, что она уже меня не слышит. — Я тоже работала в прачечной, там простыни были белые-белые, как снег.

Она замолчала и начала тихонько напевать, покачиваясь вперёд и назад. Эту колыбельную я знала столько же, сколько помнила себя, и каждый раз мама обрывала её на одном и том же месте, словно дальше начиналась пропасть. Папа пел мне эту песню каждый вечер, пока не ушёл, но я всегда засыпала раньше, чем он доходил до конца. После него песню пела только мама, и в детстве я думала, что конца у неё просто не существует.

— Тише, тише, спит вода, — пела мама еле слышно. — Спит над крышами звезда. Спит на ветке птичья стая, спи и ты, моя родная…

Она снова остановилась, будто наткнулась на стену, и посмотрела на меня с испугом. Губы у неё шевелились, пытаясь найти следующую строчку, но строчка не находилась. Я взяла её руки в свои и держала, пока она не успокоилась.

— Лида, — сказала мама уже совсем другим голосом. — Лида, ты закрыла окно? С моря дует.

— Закрыла, мам, — ответила я. — Всё закрыто, ложись.

Я уложила её, укрыла до подбородка и посидела рядом, пока она не закрыла глаза. Соседи вокруг нас уходили на работу, хлопала дверь, и спальня понемногу пустела, оставляя после себя запах сна и мокрых сапог. Тим проснулся, когда я уже собиралась уходить, и сел на койке, растрёпанный и сердитый со сна.

— Ты опять ходила туда, — сказал он не вопросом, а утверждением. — От тебя пахнет подвалом.

— От меня пахнет прачечной, — поправила я. — Вставай, тебе в школу. И не рисуй больше на стене, Луневы жаловались.

— Луневы жалуются на всё. — Тим потёр глаза кулаком, посмотрел на свою стену с гордостью и улыбнулся криво, на одну сторону, как улыбался всегда. — Смотри, я вчера достроил порт. Вот здесь корабли, а здесь маяк, и вода тут не стоит, а уходит в море.

Стена у его койки была исчерчена до самого потолка, и я каждый раз находила там что-нибудь новое. Тим рисовал города, которых не было ни на одной карте Мерида: с широкими улицами, с площадями, с реками, которые никуда не впадали, а текли дальше, за край стены. У каждого города было имя, написанное неровными печатными буквами, и самый большой из них назывался Белой Гаванью. Учительница в школе говорила, что у Тима хорошая рука и плохая голова, потому что за выжженными землями нет никаких городов и рисовать их незачем.

— Красиво. — Я и правда так думала. — Только почему у тебя везде море?

— Мама рассказывала, — ответил Тим и пожал плечами. — Она говорит, что море тёплое и солёное, а по вечерам в нём горят огни.

Я не стала ему говорить, что мама никогда не видела моря и что это море пришло к ней из чужих ночей. Тиму было одиннадцать, и он ещё верил, что мама просто устала и когда-нибудь отдохнёт. До пятого мая оставалось сорок пять дней, и я не собиралась отнимать у него эту веру раньше, чем отнимет регламент.

* * *

День я провела в сушильне нашего корпуса, где за три кредита в смену развешивала на верёвках мокрые простыни со всех сорока спален. В сушильне было жарко и влажно, с потолка капало, а от горячих труб пахло железом и мылом. Работа не требовала головы, и голова поэтому всё время уходила туда, куда я её не пускала. Я вешала простыню за простынёй и думала о белом доме, о саде на крыше и о юноше, который держал брата за плечи.

После полудня я сдала смену и пошла к Шлюзам, потому что по вторникам Кирилл ждал меня там, у разрушенной будки смотрителя. Он сидел на перилах набережной, свесив ноги над водой, и жевал травинку, которую неизвестно где нашёл в нашем бетонном квартале. Увидев меня, он спрыгнул так легко, будто весил не больше этой травинки.

— Колосова, — сказал он вместо приветствия. — Ты похожа на варёную рыбу. Опять не спала?

— Спала, — ответила я. — Просто не своим сном.

Кирилл перестал улыбаться, и лицо у него сразу стало старше. Кроме Даши и Тима, только Кирилл знал, куда я хожу по ночам, и он никогда этого не одобрял. Я понимала, что он злится не на меня, а на всё сразу: на долг, на регламент, на мой подвал и на свою беспомощность.

— Ты себя сжигаешь. — Кирилл отвёл глаза к воде. — Посмотри на тётку Рябову, вот что бывает с теми, кто продаёт столько.

— Я посмотрела, — ответила я. — Сегодня ночью лежала с ней рядом. У меня нет выбора, Кирилл, и ты это знаешь не хуже меня.

— Выбор есть всегда, — сказал он и упрямо мотнул головой, и улыбка вернулась к нему так же быстро, как ушла. — Через четыре дня список. Меня возьмут, я тебе обещаю. А когда меня возьмут, я заберу вас всех наверх.

— Восходящие не могут никого забрать, — сказала я. — Они живут в Зените одни.

— Значит, я буду первым, кто сможет. — Кирилл подмигнул и кивнул на ржавую пожарную лестницу, которая поднималась по стене ближайшего дортуара. — Наперегонки до водокачки? Кто проиграет, тот завтра стоит в очереди за хлебом.

Он сорвался с места, не дожидаясь ответа, и я побежала за ним, потому что иначе с Кириллом было нельзя. Лестница гудела и качалась под нами, старые болты скрипели в стене, и где-то на третьем этаже из окна высунулась сонная голова и обругала нас. Наверху начиналась наша настоящая улица, о которой не знали ни Надзор, ни учителя, ни взрослые. Крыши дортуаров стояли так близко друг к другу, что между ними можно было перепрыгнуть, если не бояться и не смотреть вниз.

Кирилл бежал впереди, и я видела, как его ноги находят опору раньше, чем он успевает на неё посмотреть. Он перемахнул через вентиляционную будку, пробежал по узкому парапету и прыгнул через первый провал, широкий, в два шага. Я прыгнула следом, почувствовала под ногами мокрый рубероид и чуть не поскользнулась. Ветер с реки бил в лицо, пахло дымом от заводов и мокрым бетоном, и на минуту я забыла и про долг, и про подвал, и про чужую боль под рёбрами.

Мы бегали так с двенадцати лет, и крыши Седьмой Низины я знала лучше, чем её улицы. Здесь были свои дороги, свои переправы и свои опасные места: прогнивший настил над пятнадцатым корпусом, качающийся мостик из досок над переулком, длинная труба, по которой можно было пройти над целым кварталом, если держать равновесие. Кирилл был лучшим бегуном Седьмой Низины, и все это знали, даже ребята из соседних округов, которые иногда приходили помериться с ним скоростью.

Я догнала его только у водокачки, и то потому, что он остановился меня подождать. Он стоял на самом краю железной площадки и смотрел на север, туда, где за дымом заводов и серыми крышами Пояса поднимался Зенит. Отсюда, с самой высокой точки Седьмой Низины, его было видно лучше всего.

Зенит стоял на холмах над городом, белый и стеклянный, и даже днём казалось, что он светится изнутри. Его башни были такими тонкими и высокими, что я не понимала, почему они не падают, а на их плоских крышах зеленели сады, настоящие деревья, которых в Низинах не видел никто. Между башнями скользили вагоны монорельса, бесшумные, как рыбы в воде. Над Зенитом никогда не стоял дым, и небо там всегда было чище, чем у нас.

— Видишь вон ту башню, слева, с круглой крышей? — спросил Кирилл, показывая рукой. — Там живут восходящие. Я читал, что у каждого своя квартира с окном во всю стену. И с балконом.

— Где ты это читал?

— В листовке от «Гипноса». Там был снимок, и девушка из Девятой Низины стояла на балконе и махала рукой. — Кирилл обернулся ко мне, и глаза у него горели. — Я попрошу квартиру повыше, чтобы видеть отсюда нашу водокачку. И буду каждый вечер махать тебе оттуда фонарём.

— Я не увижу твой фонарь, — сказала я. — Здесь всё в дыму.

— Значит, я буду махать очень большим фонарём.

Я засмеялась, и он засмеялся вместе со мной, и смех этот был таким лёгким, что я не узнала собственный голос. С Кириллом всегда было так, он умел вытащить из меня то, что я давно считала потерянным. Мы сидели на краю площадки, свесив ноги, и смотрели, как над Зенитом садится солнце, окрашивая белые башни в розовый и золотой.

— Ты правда веришь, что тебя возьмут? — спросила я, когда мы отдышались.

— Правда, — ответил он, и в его голосе не было ни капли сомнения. — Я сплю хорошо, у меня отличная сомнограмма, мне в школе говорили. Я ни разу ничего не продавал. Если в этом году не возьмут, мне через полгода исполнится семнадцать, и я пойду в график, как все. Так что меня обязательно возьмут, Колосова, потому что иначе всё это не имеет смысла.

Я посмотрела на его профиль, на упрямый подбородок и обветренные губы, и не нашлась, что ответить. Кирилл верил в Восхождение так же просто и твёрдо, как верил в то, что завтра над Зенитом снова взойдёт солнце. Мне хотелось верить вместе с ним, но я слишком хорошо умела считать.

* * *

Вечером в общем зале на первом этаже включили «окно», и весь корпус собрался перед ним, как собирался каждый вечер. Экран занимал целую стену, от пола до потолка, и в Низинах его называли окном, потому что другого окна в большой мир у нас не было. Люди сидели на скамьях, на полу и на подоконниках, дети забирались взрослым на колени, а старики придвигались поближе, чтобы лучше слышать.

На экране появилась Илона Вест, и зал сразу затих. Она была самой красивой женщиной, которую я когда-либо видела, со светлыми волосами, уложенными волной, и с улыбкой, от которой хотелось улыбнуться в ответ. Её голос звучал так тепло, будто она говорила с каждым из нас отдельно и знала наши имена.

— Добрый вечер, Мерид, — сказала Илона Вест. — Осталось всего четыре дня до самого важного дня в году. В субботу будут названы сто имён, и сто юношей и девушек из Низин начнут свой путь наверх. Шестидесятое Восхождение уже близко, и весь город затаил дыхание вместе с вами.

За её спиной побежали кадры прошлых лет. Белые башни, сады, юноши и девушки в светлой одежде, которые смеялись, обнимали друг друга и махали в камеру. Потом пошли видеописьма: восходящие говорили своим семьям, что у них всё хорошо, что они учатся, работают и скучают, но счастливы. Женщина из нашей спальни, со второго ряда, заплакала, когда на экране появилась её дочь, которая ушла наверх шесть лет назад, и соседи гладили её по плечам.

Я смотрела на эти письма каждый год и каждый год замечала одно и то же, хотя не понимала, почему это меня тревожит. Восходящие всегда говорили из одной и той же светлой комнаты, на фоне одного и того же окна, и никогда не появлялись в прямой трансляции. Мне казалось, что если бы я ушла наверх, то хоть раз пришла бы посмотреть на свою семью в окно, хотя бы на минуту. Зенит, впрочем, был далеко, и восходящим, наверное, просто было некогда.

— Помните, — сказала Илона Вест, и камера приблизила её лицо, — каждая ночь, которую вы отдаёте, строит наш общий дом. Ваш сон — ваш вклад в будущее.

— Ваш сон — ваш вклад в будущее, — нестройно повторили несколько голосов в зале, и я заметила, что дед Захар шевелит губами вместе со всеми.

Экран погас, оставив на стене синий полумесяц «Гипноса», и люди стали расходиться к своим спальням. Я задержалась у двери, потому что услышала, как две женщины из соседнего

ряда шепчутся о чём-то, оглядываясь по сторонам. Одна из них была тётя Нина, мать Кирилла, высокая и худая, с такими же быстрыми глазами, как у сына.

— В Пятой опять, — говорила она, понизив голос. — Мне сестра передала через баржевых. После той сходки на заводе, когда требовали урезать график, у них за неделю двенадцать человек затуманилось. Двенадцать, представляешь? И все из тех, кто кричал громче остальных.

— Может, совпадение, — ответила вторая и пожала плечами. — Они же все продают по шесть ночей в неделю, вот и сгорели.

— Может, и совпадение. — Тётя Нина покачала головой и вдруг увидела меня. — Маша, ты ничего не слышала, поняла? Ничего не слышала и никому не скажешь.

— Я ничего не слышала, — сказала я и пошла к лестнице.

Двенадцать человек за неделю было много, даже для Низин, где туман приходил так же привычно, как весенние дожди. Я поднималась по ступенькам и считала, сколько это в месяц, сколько в год, и числа получались такими, что их не хотелось додумывать до конца. Я решила, что тётя Нина преувеличивает, как преувеличивают все, кто передаёт слухи через баржевых, и постаралась больше об этом не думать.

Ночная смена уже укладывалась, когда я вернулась в спальню. Над соседними койками щёлкали разъёмы, взрослые надевали обручи, и спальня наполнялась тихим шорохом, похожим на шелест бумаги. Тим лежал, укрывшись с головой, и только кончик носа торчал из-под одеяла, а мама сидела на койке и смотрела в темноту.

— Маша, — шёпотом позвал Тим, когда я легла. — А если тебя возьмут в Восхождение?

— Меня не возьмут, — ответила я так же шёпотом. — Спи.

— Но если возьмут? — настаивал он. — Ты тогда будешь жить в Зените, и у тебя будет квартира с балконом, как говорит Кирилл. Ты меня возьмёшь к себе?

— Возьму, — сказала я, потому что одиннадцатилетнему брату нельзя было ответить по-другому. — Возьму тебя и маму, и мы будем жить на самом верху, и ты нарисуешь там на стене все свои города.

Тим удовлетворённо вздохнул и через минуту уже спал, дыша ровно и глубоко, как дышат только дети. Я лежала с открытыми глазами и слушала, как вокруг засыпают сорок человек, как дед Захар кашляет, как скрипит зубами младшая Лунева. Где-то далеко, за стенами и за рекой, светился синий полумесяц станции, и провода под потолком несли туда чужие ночи.

Мама в темноте снова начала напевать, совсем тихо, чтобы не разбудить соседей. Она пела про спящую воду и спящую звезду, про птичью стаю на ветке, и я лежала и ждала, что сегодня она наконец допоёт до конца. Она дошла до слов «спи и ты, моя родная» и замолчала, как молчала всегда.

Я тронула пальцами висок и подумала, что до пятого мая осталось сорок пять дней, а значит, сорок пять ночей. В голове снова и снова повторялась одна и та же простая арифметика, в которой не было места чудесам. Перед тем как уснуть, я поймала себя на том, что впервые за много лет считаю не ночи, а дни до субботы.

Глава 2

В среду я снова пошла к Саве, и четыреста восемнадцать шагов показались мне короче обычного. Туман в тот вечер был таким густым, что фонари на набережной висели в нём мутными жёлтыми шарами, и вода в подъездах только угадывалась по запаху. Я шла и думала, что сегодня, может быть, снова попаду в белый дом, хотя знала, что это невозможно. Клиент просил меня через неделю, а не через два дня, и чужие ночи никогда не повторялись по моему желанию.

Ночь оказалась самой обычной, такой, каких у меня было больше сотни. Мне досталась женщина, которая учила какие-то регламенты, и всю ночь передо мной листались страницы с мелкими буквами, параграфами и печатями. Сквозь страницы иногда проступала тёмная вода, в которой женщина тонула в детстве, и тогда буквы расплывались, а у меня перехватывало дыхание. Я отступала в сторону, смотрела на её страх со стороны и ждала, пока вода снова станет бумагой.

Утром Сава отсчитал мне тридцать кредитов, и я пересчитала их дважды, прежде чем спрятать. Двести пятьдесят семь ночей, сказала я себе по дороге домой, и до пятого мая сорок три дня. Числа стали чуть меньше, но разница между ними не менялась, и я уже привыкла к этому чувству, похожему на бег против течения у шлюза, когда вода всё равно сносит назад.

Днём в сушильне я уронила корзину с мокрым бельём, потому что заснула стоя, прислонившись к горячей трубе. Старшая по сушильне, тётя Галя, обругала меня и отправила домой на час раньше, сказав,что сонные ей тут не нужны. Я не стала спорить и не стала объяснять, почему засыпаю днём, хотя сплю ночью. Тётя Галя и так всё понимала, потому что половина Седьмой Низины засыпала днём по той же самой причине.

* * *

В четверг вечером Даша встретила меня у двери не так, как обычно. Она быстро втянула меня внутрь и задвинула засов, а потом прислушалась, приложив ухо к двери. Лицо у неё было бледное, и коса, кажется, была заплетена ещё туже, чем всегда.

— Что случилось? — спросила я шёпотом.

— Ничего, — ответила Даша, не отрывая уха от двери. — Просто днём у моста видели фургон Надзора. Сава говорит, это ерунда, они там каждую неделю ездят. Но он злой сегодня, ты лучше к нему не подходи.

Сава сидел за столом и не считал монеты, а просто смотрел на шкатулку, положив на неё тяжёлую ладонь. Зелёные огоньки мигали под его пальцами, как будто ящик дышал. Он кивнул мне на раскладушку и ничего не сказал, а я не стала ничего спрашивать.

В ту ночь в подвале было всего четверо доноров, считая меня. Тётка Рябова снова лежала у стены, старик в вязаной шапке пришёл опять, а на месте братьев-грузчиков лежала незнакомая девушка лет двадцати с перевязанной рукой. Даша надела на меня обруч, и пластины привычно обожгли холодом виски.

— Если что, я рядом, — сказала Даша, и я почувствовала, что она говорит это скорее себе, чем мне.

Я сосчитала до двухсот сорока, и подвал исчез. Покупатель в ту ночь был молодой мужчина, который учил устройство каких-то машин, и передо мной кружились шестерёнки, схемы и цифры, сменяя друг друга с такой скоростью, что у меня закружилась голова. Под этими схемами лежало его горе, старое и тихое: умершая собака, которую он очень любил в детстве. Горе было лёгким, почти прозрачным, и я подумала, что сегодня мне повезло.

Потом в чужой сон вошёл звук, которого там быть не могло. Сначала я приняла его за шум машин, которые учил покупатель, но звук был другим, тонким и прерывистым, как писк комара над ухом. Он шёл не изнутри сна, а снаружи, сверху, оттуда, где оставались подвал,

раскладушка и моё настоящее тело. Шестерёнки замедлились, схемы поплыли, и сквозь них, как сквозь мутное стекло, я услышала глухие удары над головой.

Я никогда раньше не выходила из чужого сна сама, до того как кончалась ночь. Я не знала, можно ли это сделать и что случится с покупателем, если я уйду, но удары наверху становились всё громче и ближе. Я отступила на шаг, как отступала всегда, потом ещё на шаг, а потом рванулась назад, к краю, туда, где кончалась чужая память, со всей силой, на какую была способна.

Меня выбросило в подвал так резко, что я закашлялась и села на раскладушке, хватая ртом воздух. Голова гудела, как колокол, и в глазах плыли зелёные пятна от огоньков шкатулки. Даша спала на табурете, уронив голову на стол, а у её локтя стояла кружка с остывшей водой. Наверху, прямо над потолком, кто-то тяжело шагал по полу бывшей прачечной, и с потолка сыпалась мелкая пыль.

— Даша! — Я сорвала с себя обруч и схватила её за плечо. — Даша, просыпайся, Надзор!

Даша вскинулась, посмотрела на меня мутными глазами и вдруг всё поняла. Она вскочила так быстро, что табурет опрокинулся с грохотом, и мы обе замерли, прислушиваясь. Шаги наверху остановились, а потом кто-то громко и ровно сказал: «Сигнал идёт отсюда, проверьте подвал».

Сава, дремавший на стуле в углу, уже стоял у стола, хотя я не заметила, когда он поднялся. Он выдернул из шкатулки провода одним движением, сунул ящик под мышку и шагнул к дальней стене, где за старыми мешками с бельём пряталась железная дверца угольного лаза. Лицо у него было каменным и совершенно спокойным.

— Через лаз, — сказал он. — Наверх и по крышам. Не оглядывайтесь.

— А они? — Даша показала на спящих доноров. — Рябова, старик…

— Их не тронут, — бросил Сава, не глядя на неё. — Они взрослые, у них график. А вас, малолеток, заберут на станцию, и потом матерям вашим всю жизнь платить штрафы. Быстро.

Я посмотрела на тётку Рябову, которая спала с обручем на голове, шевеля губами, и мне стало так стыдно, что заболели зубы. Она ничего не слышала и ничего не знала, а её покупатель где-то в своём доме так и не получит того, за что заплатил. Над головой хлопнула дверь, и по лестнице в подвал загрохотали сапоги.

Сава распахнул дверцу лаза и подсадил Дашу, а за ней меня. Лаз был узким и шёл наискось вверх, стены были покрыты жирной угольной пылью, и я ползла на локтях, чувствуя, как пыль набивается в рот и в нос. Позади нас дверца захлопнулась, и я поняла, что Сава остался внизу и следом за нами не пойдёт. Впереди тускло светилась решётка, и Даша уже давила на неё плечом.

Решётка выходила на задний двор прачечной, за угол от входа в подвал. Мы вывалились из лаза на мокрый асфальт и сразу прижались к стене, потому что весь двор был залит белым светом. У входа в подвал стояли двое надзорщиков с фонарями на шлемах, а у ворот урчал серый фургон с синим полумесяцем на борту.

Третий надзорщик стоял чуть в стороне и держал перед собой странный прибор, похожий на плоскую коробку с длинной гнутой антенной. Коробка тихо попискивала, и этот писк был тем самым звуком, который я слышала во сне. Надзорщик медленно поворачивался, водя антенной по стенам, и писк становился то громче, то тише.

— Ещё один человек, — сказал он, и антенна остановилась, указывая прямо на угол, за которым прятались мы. — Слабый звук. Двигается.

— Он что, слышит нас? — прошептала Даша мне в ухо. — Как он может слышать?

Я не знала ответа и не хотела его узнавать. Я схватила Дашу за руку и потянула к пожарной лестнице, которая поднималась по задней стене соседнего дортуара. Лестница была старая, нижние ступени давно отвалились, и до первой оставалось больше моего роста. Я подпрыгнула, уцепилась за ржавую перекладину и подтянулась, а потом свесилась и протянула Даше руку.

— Там! — крикнул кто-то за нашими спинами, и белый луч ударил в стену прямо над моей головой.

Даша схватилась за мою руку, и я втащила её наверх, сдирая кожу на ладони о ржавое железо. Мы полезли вверх, перекладина за перекладиной, и лестница гудела и раскачивалась так, что казалось, она вот-вот оторвётся от стены. Внизу кто-то тоже начал карабкаться, тяжело и шумно, и я слышала, как гремят по железу его сапоги.

Крыша дортуара была мокрой и скользкой от тумана, и в первый момент я не поняла, где мы. Потом увидела знакомую вентиляционную будку с выбитым окошком и узнала шестнадцатый корпус, по которому мы с Кириллом бегали сотни раз. Отсюда до моста было три крыши, а до Шлюзов две, и через Шлюзы шла та самая длинная труба.

— Бежим к трубе, — сказала я Даше. — Держись за мной и прыгай туда, куда прыгаю я.

— Я никогда не прыгала по крышам, — ответила Даша, и голос у неё дрожал. — Маша, я боюсь высоты.

— Не смотри вниз, смотри на меня. — Я сжала её холодные пальцы. — Нас поймают, если мы будем стоять.

Мы побежали, и под ногами захлюпал мокрый рубероид. Первый провал между крышами был узким, и Даша перепрыгнула его почти не задумываясь, потому что не успела испугаться. Второй был шире, и она остановилась на краю, глядя в чёрную щель, где далеко внизу блестела вода.

Позади нас над краем крыши показался белый луч, а за ним шлем надзорщика. Он выбрался на крышу, выпрямился и поднял к плечу что-то короткое и толстое, похожее на обрезок трубы. Раздался глухой хлопок, и над нашими головами развернулась сеть, серая, с грузиками по краям, и упала в шаге от Даши, накрыв вентиляционную трубу.

Даша взвизгнула и прыгнула, не раздумывая, и я прыгнула следом. Она приземлилась на четвереньки, разбила колено и вскочила, прихрамывая, и мы побежали дальше, пригибаясь за трубами и будками. За спиной снова хлопнуло, и вторая сеть легла позади нас, зацепившись за антенну.

Внизу по улице выли сирены, и белые лучи метались по стенам дортуаров, выхватывая из темноты окна, балконы и бельё на верёвках. Где-то в корпусах просыпались люди, и за стёклами вспыхивали испуганные лица, но тут же гасли, потому что в Седьмой Низине никто не хотел видеть того, что делает Надзор. Я бежала и считала крыши, потому что счёт держал меня, как поручень держит в качку.

Труба начиналась у края последнего дортуара перед Шлюзами и уходила над затопленным кварталом к старой насосной станции. Она была толстая, в обхват, покрытая скользкой ржавчиной и птичьим помётом, и под ней на высоте пяти этажей лежала чёрная вода. Кирилл проходил по ней за минуту, я за три, а Даша не проходила никогда.

— Я не смогу, — сказала Даша, останавливаясь у края. — Маша, я упаду.

— Не упадёшь. — Я встала на трубу и обернулась к ней. — Иди за мной, ставь ноги боком, держи руки в стороны. Смотри только на мою спину и считай шаги вслух.

— Зачем считать?

— Потому что, когда считаешь, не так страшно, — ответила я. — Поверь мне, я знаю.

Мы пошли по трубе, и Даша считала шёпотом, сбиваясь и начиная заново. Ветер с реки толкал нас в бок, ржавчина крошилась под подошвами, и где-то на середине труба тихо застонала под нашим весом. Я не оглядывалась, потому что знала: если оглянусь и увижу, как Даша качается, то упаду сама. Позади нас, на крыше дортуара, надзорщик водил фонарём, но на трубу не пошёл, а только кричал что-то в рацию.

Мы спрыгнули на крышу насосной станции, когда Даша досчитала до ста двенадцати. Она упала на колени и долго сидела, вцепившись руками в мокрый бетон, и плакала беззвучно,

вздрагивая плечами. Я села рядом и обняла её, и мы сидели так, пока сирены на том берегу не стали тише, а белые лучи не перестали метаться по стенам.

— Ты проснулась, — сказала Даша, когда смогла говорить. — Ты проснулась сама, посреди ночи, с обручем на голове. Так не бывает, Маша. Никто так не может.

— Мне повезло, — ответила я. — Наверное, обруч плохо сидел.

Даша посмотрела на меня долгим взглядом, точно таким же, каким смотрела утром после белого дома. Она ничего не сказала, но я видела, что она не поверила. Я и сама бы не поверила на её месте.

* * *

Мы просидели на насосной до рассвета, а потом спустились по внутренней лестнице и пошли домой длинной дорогой, в обход Шлюзов по старой дамбе и вдоль заводской стены. Наружную железную лестницу я обошла стороной, потому что в детстве поднималась по ней у папы на спине и считала ступени вслух, а вспоминать об этом мне не хотелось. Над Седьмой Низиной поднималось серое утро, и всё выглядело так, будто ничего не случилось. У прачечной стоял пустой фургон Надзора, и двое в форме заколачивали досками дверь в подвал, и это было единственным следом прошедшей ночи.

Дома я долго отмывалась над умывальником ледяной водой, пока угольная пыль не перестала стекать с волос серыми струйками. Мама спала, свернувшись под одеялом, и не проснулась, когда я легла рядом на свою койку, а Тим только приоткрыл один глаз и сразу закрыл его снова. Я лежала и смотрела в потолок, на серый провод с разъёмом, который висел над моей койкой без дела, и думала о том, что тётка Рябова сейчас просыпается на станции среди чужих белых стен.

Саву я нашла днём, в пятницу, на заднем дворе пятнадцатого корпуса, где он сидел на перевёрнутом ящике и разминал пальцы больной руки. Возле его ног стоял мешок из-под муки, и по тому, как бережно Сава придерживал его сапогом, я поняла, что внутри. Рука у Савы была перевязана грязной тряпкой, а под глазом наливался синяк, но лицо было таким же спокойным, как всегда.

— Шкатулку я спас, — сказал он, не дожидаясь вопроса. — А подвал закрыли. Рябову и старика увезли на станцию, сказали, на отдых. Девчонку с рукой тоже.

— А вы? — спросила я. — Как вы ушли?

— Через второй лаз, под лестницей, у меня их два. — Сава толкнул сапогом мешок и посмотрел на меня тяжело. — Я закрываюсь, Колосова. Совсем. Они пришли не случайно, у них была машинка, которая слышит, где спят под шкатулкой. Раньше такой не было. Если она есть у них, значит, скоро будет по всем Низинам.

— Мне нужны деньги, — сказала я и сама услышала, как дрогнул мой голос. — Мне очень нужны деньги, Сава. Хотя бы ещё месяц.

— Всем нужны деньги, — ответил он. — Иди к станции, там тебе дадут заработать по регламенту, когда стукнет семнадцать. А я в тюрьму из-за тебя не пойду.

Он встал и пошёл прочь, тяжело ступая, а потом остановился и обернулся. Он посмотрел на меня так, как смотрел иногда в подвале, когда думал, что я не вижу: внимательно и с каким-то странным опасением. Мне стало не по себе от этого взгляда, словно Сава знал обо мне что-то, чего не знала я сама.

— Даша сказала, ты сама проснулась. — Сава оглянулся на пустой двор. — Под обручем, посреди ночи, раньше всех.

— Обруч плохо сидел, — повторила я.

— Может, и плохо. — Сава помолчал. — Ты странная девка, Колосова, я это давно знаю. Мой тебе совет: никому больше не рассказывай, что умеешь просыпаться, когда хочешь. Никому.

Он ушёл, и я осталась одна на заднем дворе, среди мусорных баков и луж. Ладони у меня горели от ржавчины, разбитое колено Даши стояло перед глазами, а в голове звучал ровный голос надзорщика: «Сигнал идёт отсюда». Я села на тот же ящик, на котором сидел Сава, и начала считать, потому что ничего другого делать не умела.

Двести пятьдесят семь ночей, и ни одного кредита за прошлую ночь. Сорок два дня до пятого мая, и ни одного подвала, где можно было бы продать сон. Даже если бы я продавала каждую ночь, мне не хватило бы, а теперь у меня не было и этого. Я пересчитала всё ещё раз, медленно, как пересчитывают сдачу, и числа сошлись так же, как сходились всегда.

Вечером я не пошла домой сразу, а поднялась на водокачку и долго сидела там, глядя на Зенит. Его башни горели ровным белым светом, и сады на крышах казались тёмными пятнами на фоне неба. Где-то там, в одном из белых домов, жил юноша, которого я видела во сне, и сидел в кресле его брат, глядя в сад и не узнавая никого. Через три дня тот юноша наденет свой обруч и ляжет ждать моей ночи, а шкатулка Савы ему не ответит, и он так и не узнает, что девушка, которая несла его горе, осталась без последнего заработка.

Кирилл нашёл меня там, когда уже стемнело, и молча сел рядом. Он, наверное, всё уже знал, потому что в Седьмой Низине новости бегали быстрее, чем он сам. Он ничего не спрашивал, только протянул мне половину своего хлеба и толкнул плечом.

— Завтра список, — сказал он наконец, глядя на Зенит. — Завтра всё изменится, Колосова, вот увидишь.

Я взяла хлеб и ничего не ответила. Где-то далеко внизу, за рекой, горел синий полумесяц станции, и мне показалось, что он смотрит на меня, как смотрела антенна в руках надзорщика. Я отвернулась от него и стала смотреть на белые башни, пока они не расплылись у меня перед глазами.

* * *

В субботу двадцать пятого марта в Седьмой Низине не работал никто, кроме станции «Гипноса». Заводы стояли, баржи качались у причалов без грузчиков, и даже сушильню нашего корпуса закрыли до вечера. Список Восхождения объявляли раз в год, и в этот день весь Мерид смотрел на один и тот же экран, от белых башен Зенита до последнего дортуара у реки.

Большой экран висел на стене станции над площадью у моста, и люди начали собираться там с самого утра. Они приходили семьями, со стариками и детьми, несли с собой хлеб в бумаге и бутылки с водой, садились прямо на мокрый асфальт или на перевёрнутые ящики. К полудню площадь была забита так плотно, что нельзя было поднять руку, не задев соседа. Надзорщики в серой форме стояли по краям и смотрели на толпу без всякого выражения.

Мама осталась в спальне с дедом Захаром, который не любил толпы, а Тима я взяла с собой. Он держал меня за руку и подпрыгивал на месте, пытаясь разглядеть экран поверх чужих голов. Я посадила его себе на плечи, хотя он был уже тяжёлым, и он сразу притих, глядя на синий полумесяц, который медленно вращался на экране.

Кирилл пробился к нам за полчаса до начала, и я едва узнала его. На нём была белая рубашка, слишком широкая в плечах, явно отцовская, а волосы были мокрыми и зачёсанными назад. Он улыбался, но улыбка у него была напряжённая, и я видела, как он сжимает и разжимает кулаки.

— Ты что, на свадьбу собрался? — спросила я.

— Я собрался в Зенит, — ответил он. — Меня будут показывать на весь город, Колосова, не могу же я выйти в старой куртке.

— Тебя не будут показывать. Будут показывать только имена.

— Значит, моё имя будет в белой рубашке. — Кирилл подмигнул Тиму, и тот захихикал у меня на плечах. — Тимофей, держи кулаки за меня. И за сестру тоже держи.

— За меня не надо, — сказала я. — Меня не возьмут.

Кирилл посмотрел на меня так, будто хотел что-то возразить, но в этот момент полумесяц на экране погас, и площадь затихла разом, словно кто-то выключил звук. Даже младенцы на руках у матерей перестали плакать. В наступившей тишине было слышно, как плещется вода под мостом.

На экране появилась Илона Вест в белом платье, и за её спиной сиял Зенит, весь залитый солнцем. Она улыбнулась нам так, будто стояла прямо здесь, на площади, и видела каждого. Голос у неё был ещё теплее, чем во вторник, и в нём звучало такое волнение, что у меня самой вдруг заколотилось сердце.

— Мерид, — сказала Илона Вест. — Сегодня шестидесятый раз в истории Покоя мы называем имена тех, кто начнёт путь наверх. Эти юноши и девушки были выбраны по результатам школьных сомнограмм. Их сон признан лучшим в Низинах, а значит, они смогут отдать городу больше, чем другие. Сегодня мы называем сто имён, и десять из них через месяц станут восходящими.

Она сделала паузу, и камера медленно обвела белые башни за её спиной. По толпе пробежал вздох, долгий и общий, как будто вся площадь вдохнула одновременно. Я почувствовала, как Тим вцепился мне в волосы.

— Прежде чем назвать имена, напомню условия, — продолжила Илона Вест. — Семьи десяти восходящих получат полное списание всех долгов перед «Гипносом». Каждый кандидат, который не дойдёт до конца, в благодарность за оказанный шанс подпишет донорский контракт на год раньше срока, с шестнадцати лет. Таков регламент, и он справедлив для всех.

Я слышала эти условия каждый год, но в первый раз они относились ко мне, пусть даже только в теории. Полное списание всех долгов означало, что двести пятьдесят семь ночей исчезнут в один день, как будто их никогда не было. Досрочный контракт означал, что проигравший начнёт продавать сон по графику прямо сейчас, а не в семнадцать, как все. Я подумала, что «Гипнос» ничего не теряет ни в каком случае, и сразу же постаралась забыть эту мысль.

Илона Вест начала читать имена, и над площадью зазвучал её тёплый голос. Она называла округ, потом фамилию, имя и отчество, и после каждого имени где-то в Мериде, наверное, кричали от радости, но на нашей площади было тихо. Сначала шла Первая Низина, потом Вторая и Третья. Имена шли одно за другим, и я считала их, потому что не могла не считать.

— Третья Низина, — говорила Илона Вест. — Ремез Злата Игоревна. Сомов Артём Ильич.

Я слушала и запоминала, сама не зная зачем. Сорок одно имя, сорок два, сорок три. Прошли Четвёртая Низина, Пятая и Шестая. Кирилл рядом со мной перестал дышать, я видела, как его грудь замерла под широкой рубашкой. Толпа вокруг тоже затаила дыхание, потому что следующей была наша.

— Седьмая Низина, — сказала Илона Вест.

Площадь качнулась вперёд, как одно большое тело. Кто-то схватил меня за локоть, кто-то наступил на ногу, и Тим на моих плечах качнулся, едва не упав. Я вцепилась в его щиколотки и замерла.

— Блинова Ольга Денисовна, — прочитала Илона Вест.

Где-то слева раздался визг, и толпа расступилась вокруг невысокой рыжей девушки, которая закрыла лицо руками. Её мать обнимала её и плакала, а соседи хлопали их по спинам. Я знала Ольгу Блинову по школе, она сидела через ряд от меня и всегда лучше всех решала задачи.

— Шестаков Кирилл Сергеевич, — прочитала Илона Вест.

Кирилл закричал так, что у меня заложило уши. Он подпрыгнул, выбросил вверх оба кулака и закричал снова, и вся площадь вокруг нас взорвалась криком вместе с ним. Его хлопали по плечам, трясли за руки, какой-то старик поцеловал его в макушку, а тётя Нина проби-

лась к нему через толпу и повисла у него на шее, рыдая. Тим колотил меня пятками по груди и визжал от восторга.

— Я же говорил! — кричал Кирилл, обнимая мать и одновременно пытаясь дотянуться до меня. — Колосова, я же говорил тебе! Каждый год говорил!

Я смеялась и плакала одновременно, потому что его радость была такой огромной, что её хватало на всех. В эту минуту я не думала ни о долге, ни о подвале, ни о белом доме. Я думала только о том, что Кирилл наконец получил то, во что верил с двенадцати лет, и что хотя бы один человек в Седьмой Низине сегодня счастлив по-настоящему.

Илона Вест продолжала читать, но её голос тонул в общем шуме. Я слышала обрывки фамилий, какие-то имена, и не прислушивалась, потому что Кирилл обнимал меня, а Тим кричал мне в ухо. Только через несколько секунд я поняла, что люди вокруг нас замолчали и смотрят на меня. Закончив округ, Илона Вест всегда повторяла его имена ещё раз, медленно и по одному.

— Колосова Мария Андреевна, — повторила Илона Вест, и мне показалось, что она смотрит прямо на меня. — Седьмая Низина.

Я не сразу поняла, что это моё имя. Оно прозвучало так странно и так далеко, будто его произнесли на другом конце города и о ком-то другом, о девушке, у которой было то же имя, но совсем другая жизнь. Потом Тим на моих плечах заорал так, что у меня зазвенело в голове, и Кирилл схватил меня за плечи и затряс, расталкивая людей локтями.

— Тебя взяли! — кричал он мне в лицо. — Колосова, тебя тоже взяли! Мы оба, слышишь? Мы оба!

Меня хлопали по спине, трогали за плечи, какая-то женщина сунула мне в руку кусок хлеба, будто это был подарок. Лица вокруг расплывались, звуки сливались в один сплошной гул, и я стояла посреди площади, держа брата за ноги, и не чувствовала ничего, кроме оглушительной пустоты. Я не понимала, как это могло случиться.

Меня не должны были взять. Полгода я продавала свой сон по четыре ночи в неделю, и моя сомнограмма должна была выглядеть как у тётки Рябовой, рваной и тусклой, с провалами там, где у здоровых людей идут ровные волны. Так было у всех, кто продавал, это знала вся Низина, и поэтому кандидатами никогда не становились те, кто рано начал работать на чёрном рынке.

Я вспомнила январскую ночь на станции, когда нас, шестнадцатилетних, одного за другим укладывали в белой комнате под датчики для ежегодной записи. Я тогда весь вечер боялась, что запись покажет мои проданные ночи и меня отправят к Надзору прямо из кабинета. Утром врач долго смотрел на экран и хмурился, а потом позвал второго врача, и они вдвоём разглядывали мою кривую, о чём-то тихо переговариваясь. Я решила тогда, что всё пропало, но меня просто отпустили домой, и я забыла об этом через неделю.

Теперь я поняла, что они хмурились не потому, что мой сон был плохим. Мой сон выглядел так хорошо, что это показалось им странным. Я не знала, как это возможно после восьмидесяти с лишним ночей, проданных к январю, и от этого незнания по спине у меня пробежал холод, совсем не похожий на радость.

Илона Вест дочитала список до конца, и над площадью снова заиграл гимн «Гипноса», медленный и торжественный. Люди пели вместе с экраном, кто громко, кто вполголоса, и я тоже шевелила губами, не слыша собственного голоса. В Седьмой Низине в этом году оказалось четыре кандидата: Ольга Блинова, Кирилл, я и Пётр Карасёв, тихий высокий парень из дальнего корпуса, которого я почти не знала.

Тим всю дорогу домой рассказывал каждому встречному, что его сестру взяли в Восхождение. Он говорил это старикам у подъездов, женщинам с вёдрами, надзорщику у моста, который только равнодушно кивнул. Мне хотелось, чтобы он замолчал, и в то же время мне

не хватало сил его остановить, потому что такого счастливого лица я не видела у него с тех пор, как мама заболела.

Мама сидела на своей койке и смотрела в окно, когда мы вошли в спальню. Соседи расступились перед нами, кто-то поздравлял, кто-то просто смотрел с жадным любопытством, а младшая Лунева протянула мне бумажный цветок, сложенный из обрывка газеты. Ей самой в мае исполнялось двенадцать, всего на несколько дней позже Тима, а их отец с зимы путал день с ночью, и я не смогла посмотреть ей в глаза. Я села рядом с мамой и взяла её за руку.

— Мам, — сказала я. — Меня взяли в Восхождение. Если я выиграю, твой долг спишут. Весь, до последней ночи.

Мама повернулась ко мне, и на одно мгновение её глаза стали совершенно ясными, такими, какими я помнила их в детстве. Она смотрела на меня так, будто увидела что-то страшное, и пальцы её сжали мою руку с неожиданной силой. Губы шевельнулись, словно она хотела что-то сказать, но слова не нашлись, и через секунду её взгляд снова уплыл куда-то далеко, к морю, которого она никогда не видела.

— Лида. — Мама отпустила мою руку. — Лида, принеси воды, у меня горло пересохло.

Я принесла ей воды и посидела рядом, пока она пила маленькими глотками, держа кружку обеими руками. Мне было не по себе от того взгляда, который я успела поймать, и я не могла понять, что в нём было. Это был не туман и не пустота, а что-то совсем другое, похожее на страх.

Ближе к вечеру в спальню поднялись двое со станции, мужчина и женщина в белых куртках с синими полумесяцами на груди. Они вежливо поздоровались со всеми, нашли нашу койку и вручили мне плотный конверт с печатью. Женщина улыбалась так же тепло, как Илона Вест на экране, только глаза у неё оставались внимательными.

— Поздравляем, Мария Андреевна, — сказала она. — Здесь уведомление кандидата и правила. Сбор первого апреля в шесть утра на грузовой платформе у моста. С собой ничего брать не нужно, всё необходимое вы получите на месте.

— Почему меня выбрали? — спросила я, хотя понимала, что не должна этого спрашивать.

— Ваша сомнограмма признана одной из лучших в Низинах, — ответила женщина, не переставая улыбаться. — Это большая честь. Пожалуйста, внимательно прочтите правила, особенно пункт четвёртый.

Они ушли, и я вскрыла конверт, пока соседи вытягивали шеи, пытаясь заглянуть мне через плечо. Внутри лежали два листа плотной бумаги с синими печатями. Пункт четвёртый был выделен жирным шрифтом и гласил, что с момента объявления списка кандидату запрещено любое участие в передаче сна, а нарушение влечёт немедленное исключение и передачу дела в Надзор отдыха.

Я засмеялась так громко, что Луневы обернулись. Подвала Савы больше не было, шкатулка лежала в мешке из-под муки, и мне уже нечего было нарушать. Регламент запрещал мне то, что Надзор уже отнял, и в этом была какая-то злая точность, от которой хотелось смеяться и плакать одновременно.

Тим выхватил у меня второй лист и стал читать правила вслух, громко и с выражением, как читал в школе стихи. Там говорилось, что кандидаты живут в Обсерватории до церемонии Восхождения двадцать второго апреля, что их кормят, лечат и одевают за счёт «Гипноса», что родственники могут смотреть испытания по трансляции, а писать кандидатам не могут. Последний пункт он прочёл медленнее остальных, потом опустил лист и посмотрел на меня растерянно, и я увидела, что до него только теперь дошло: я уеду. Я забрала у него бумаги, сложила их обратно в конверт и спрятала под матрас, туда, где лежали последние кредиты Савы.

* * *

Даша пришла ко мне уже затемно, прихрамывая на разбитую ногу, и мы сели на ступеньках пожарной лестницы во дворе. Колено у неё было перевязано серым бинтом, а под глазами лежали тени, как у всех в Низинах. Она долго молчала, глядя на станцию, а потом повернулась ко мне.

— Я слышала по экрану у нас в корпусе, — сказала она. — Весь корпус слышал. Поздравляю, Маша.

— Спасибо, — ответила я. — Я до сих пор не верю.

— Я тоже не верю. — Даша обхватила руками здоровое колено. — У меня бабка продавала двадцать лет, и под конец её кривая была похожа на рваную тряпку, мне врач показывал. А ты полгода у Савы, по четыре ночи в неделю, и тебя берут за лучший сон.

— Я правда не знаю, как так вышло, — сказала я.

— Я знаю, что ты проснулась сама. — Даша понизила голос и оглянулась на тёмные окна двора. — Я знаю, что ты спишь как убитая, когда другие стонут. И я знаю, что тебе лучше никому об этом не говорить, особенно там, наверху. Я никому не скажу, ты не бойся.

Я посмотрела на неё и поняла, что Даша знает обо мне больше, чем я думала. Она не спрашивала, кто я и что со мной не так, и не требовала объяснений. Она просто сидела рядом и обещала молчать, как молчала обо всём, что видела в подвале, и от этого у меня защипало в глазах.

Кирилл нашёл нас через час, всё ещё в белой рубашке, только теперь она была мятой и испачканной на рукавах. Он плюхнулся на ступеньку между нами, обнял обеих за плечи и счастливо вздохнул. От него пахло чужим хлебом и улицей, а глаза горели так, будто в них отражался весь Зенит.

— Знаете, сколько человек сегодня меня поцеловали? — спросил он. — Двадцать три. Я считал, Колосова, специально для тебя.

— Ты никогда не умел считать, — сказала я. — Наверное, их было двадцать.

— Двадцать три, и одна из них была бабка Ступина с шестого этажа, у которой нет зубов. — Кирилл засмеялся и вдруг стал серьёзным. — Мы пройдём вместе, Колосова. Мы оба пройдём до конца, я это знаю. Ты будешь меня держать, а я тебя, и никто нас не остановит.

— Из ста останется десять, — сказала я. — Один из десяти, Кирилл. Даже если мы самые лучшие, у нас один шанс из десяти, а у двоих сразу ещё меньше.

— Ты опять считаешь, — сказал он и покачал головой. — Хоть сегодня не считай.

Я не ответила, потому что не могла не считать даже сегодня. До пятого мая оставался сорок один день, а до отъезда семь, и долг наш по-прежнему составлял двести пятьдесят семь ночей. Дойди я до конца, они исчезнут двадцать второго апреля, за тринадцать дней до дня рождения Тима. Проиграв, я подпишу контракт с шестнадцати лет, а долг всё равно перейдёт к брату, и мы будем продавать сон вдвоём, пока туман не заберёт нас обоих.

Над станцией у моста горел синий полумесяц, и в его свете бумажный цветок младшей Луневой, который я до сих пор держала в руке, казался голубым. Кирилл рядом со мной рассказывал Даше про квартиру с балконом, а Даша слушала и улыбалась, впервые за эту неделю. Я сидела между ними и думала о врачах, которые хмурились над моей кривой, и о маминых глазах, в которых на мгновение мелькнул страх.

Глава 3

В понедельник утром я пошла на станцию «Гипноса», потому что не умела сидеть и ждать, пока за меня всё решат. До моста было семьсот двенадцать шагов, и я прошла их, сжимая в кармане шестьдесят кредитов, всё, что осталось у меня от Савы. Белые двери станции раздвинулись сами, бесшумно, и меня обдало тёплым воздухом с запахом чего-то чистого и сладкого. Внутри было так светло, что после серой улицы заболели глаза.

Зал ожидания был огромным и почти пустым, если не считать нескольких женщин, которые сидели на белых скамьях с одинаково усталыми лицами. На стене висел портрет основателей «Гипноса», семь строгих лиц под синим полумесяцем, а под ним крупными буквами было написано: «Покой для всех». Тихо играла музыка, такая мягкая, что её почти не было слышно. Я подошла к окошку с табличкой «Выкуп и контракты» и положила монеты на блестящий поднос.

— Выкуп, — сказала я. — Контракт Колосовой Веры Павловны, Седьмая Низина, корпус семь-четырнадцать.

Женщина за стеклом пересчитала монеты, не глядя на меня, и что-то набрала на своём экране. У неё были гладкие светлые волосы и белая куртка с полумесяцем на груди, такая же, как у той, что приходила в нашу спальню. Аппарат рядом с ней зажужжал и выплюнул узкую полоску бумаги.

— Выкуплено три ночи, — сказала она, не отрывая глаз от экрана. — Остаток по контракту — двести пятьдесят семь ночей. Дата перехода контракта на наследника — пятое мая сто семнадцатого года. Что-нибудь ещё?

— Да. — Мне пришлось откашляться. — Я хотела спросить про отсрочку. Меня выбрали кандидатом Восхождения, финал будет двадцать второго апреля. Можно ли отложить переход контракта, пока не станут известны результаты? Хотя бы на месяц.

Женщина впервые подняла на меня глаза. В них не было ни сочувствия, ни раздражения, только вежливое внимание, с каким смотрят на прохожего, спросившего дорогу. Она снова что-то набрала на экране, подождала и покачала головой.

— Отсрочка перехода контракта регламентом не предусмотрена, — сказала она. — Ваше обращение было рассмотрено.

— А если долг перейдёт ко мне, а не к брату? — Я наклонилась к стеклу ближе. — Мне шестнадцать, если я проиграю, я всё равно подпишу контракт. Пусть долг перейдёт на меня.

— Контракт переходит к младшему здоровому ребёнку. Детская ночь засчитывается за две взрослые, что позволяет погасить долг быстрее и облегчает положение семьи. — Женщина произнесла это так гладко, будто читала с листа. — Изменение порядка регламентом не предусмотрено. Желаю удачи в Восхождении, Мария Андреевна.

Она назвала меня по имени, хотя я его не говорила, и я поняла, что на её экране уже написано всё обо мне. Наверное, там было написано и про подвал Савы, и про сто двадцать пять проданных ночей, и про то, как я проснулась в ту ночь сама. Я забрала бумажную полоску и пошла к выходу, стараясь не ускорять шаг, хотя мне хотелось бежать.

На улице я долго стояла у перил моста и смотрела на реку, бурую и медленную, с белыми клочьями пены у опор. Отсрочка не предусмотрена, изменение не предусмотрено, и всё в этом мире было устроено так, что предусмотренным оказывалось только одно. Я разорвала бумажную полоску на мелкие кусочки и бросила их в воду, а потом пожалела, потому что это была память о последних деньгах, которые я выручила за свой сон.

Мимо меня к дверям станции прошла женщина, которую я видела в зале ожидания, и вела за руку мальчика лет двенадцати, худого и бледного. На мальчике была слишком большая куртка, а на висках у него темнели два свежих красных пятна, какие остаются после первых

ночей под обручем. Женщина шла медленно и всё время оглядывалась на реку, словно искала там что-то, а мальчик держал её крепко и вёл, как водят стариков. Я смотрела им вслед, пока белые двери не закрылись за ними, и думала о том, что через тридцать девять дней так же буду смотреть на Тима.

* * *

Во вторник на станции собрали всех четверых кандидатов Седьмой Низины, и там я впервые увидела Гордея. Нас посадили на белые скамьи в маленькой комнате без окон, и мы сидели, не зная, чего ждать. Ольга Блинова нервно теребила рыжую косу, Пётр Карасёв смотрел в пол, а Кирилл барабанил пальцами по колену и улыбался неизвестно чему.

Дверь открылась, и вошёл мужчина лет сорока, широкий в плечах, в потёртой серой куртке, которая совсем не походила на белые куртки станционных. Он заметно хромал на правую ногу, и каждый его шаг отдавался глухим стуком. Лицо у него было обветренное и неподвижное, с глубокой складкой между бровями, а глаза смотрели на нас так, словно уже видели, чем всё кончится.

— Я Гордей, — сказал он и сел на скамью напротив, вытянув больную ногу. — Я буду вашим наставником до конца Восхождения или до того дня, когда вы вылетите. Скорее всего, до второго.

— Вы восходящий? — спросила Ольга, и голос у неё дрогнул от почтения. — Настоящий?

— Был, — ответил Гордей и помолчал. — Двадцать лет назад. Потом меня вернули вниз, из-за ноги. Теперь я каждый год вожу таких, как вы, наверх и смотрю, как вы ломаетесь.

Кирилл сразу перестал улыбаться и выпрямился. Ольга открыла рот и закрыла его, а Пётр впервые поднял глаза от пола. Гордей обвёл нас тяжёлым взглядом, задерживаясь на каждом, и я почувствовала, что он видит нас насквозь, со всеми нашими долгами, страхами и тайнами.

— Забудьте всё, что вам показывали в окне, — сказал он. — Там будут красивые залы, вкусная еда и добрые голоса. Добрым голосам не верьте. Спите при каждой возможности, ешьте всё, что дают, и не делайте ничего, о чём вас не просят. И привыкайте к стрекозам, это летучие камеры с прозрачными крыльями и красным глазом, их так зовут в Зените, и висеть они будут над вами везде. Вопросы есть?

— Какой он, Зенит? — спросил Кирилл. — Как там живут? Какая у вас была квартира?

Гордей посмотрел на него, и я впервые увидела, как что-то изменилось в его неподвижном лице. Он открыл рот, словно собирался ответить, потом закрыл и нахмурился, а складка между бровями стала глубже. Он медленно поднял руку и коснулся пальцами виска, ровно того места, где у доноров ложится обруч, и я вздрогнула, потому что так делала я сама.

— Там тихо, — сказал Гордей после долгой паузы. — Очень тихо и светло. Больше ничего не спрашивай.

— Но как же… — начал Кирилл.

— Я сказал, не спрашивай. — Гордей опустил руку и посмотрел на свою больную ногу. — Двадцать лет прошло, парень. Там нечего вспоминать, а вам незачем знать заранее. Сами увидите.

Он поднялся, объяснил нам, где и когда собираться, и ушёл, стуча хромой ногой по белому полу. Собираться нам велели в субботу в шесть утра на грузовой платформе, без вещей и без провожающих, потому что провожающих на платформу не пускали. Оттуда нас должны были отвезти до Пояса, а дальше монорельсом в Зенит, в Обсерваторию, где кандидаты жили до самого конца испытаний. Мы молча сидели ещё минуту, а потом Кирилл присвистнул и сказал, что такого восходящего он себе не представлял. Ольга сказала, что Гордей, наверное, просто злится, потому что его вернули, и это понятно. Пётр ничего не сказал, а я думала о том, как Гордей трогал висок и как долго он молчал, прежде чем вспомнить одно-единственное слово «тихо».

Двадцать лет было большим сроком, но я помнила свою спальню в пять лет, помнила папины руки и запах его куртки. Гордей жил в Зените, в лучшем месте Мерида, и не мог вспомнить ничего, кроме тишины и света. Мне это показалось странным, но я сразу же нашла объяснение: человек, которого выгнали из лучшего места на свете, вряд ли захочет о нём рассказывать.

* * *

Оставшиеся дни пролетели так быстро, что я не успевала их считать. Кирилл каждое утро поднимал нас с Ольгой и Петром на крыши и заставлял бегать, потому что был уверен, что наверху нас будут проверять на скорость. Пётр бегал плохо, но упрямо, Ольга быстро уставала, а Кирилл подгонял нас шутками и криками, словно мы уже были на испытаниях. Я бегала и считала крыши, и мне было почти хорошо, потому что пока я бежала, я не думала ни о чём другом.

Тётя Галя в сушильне обняла меня на прощание, мокрыми руками, пахнущими мылом, и сунула в карман пакетик сушёных яблок. Соседи по спальне по очереди подходили пожелать удачи, и даже Луневы, которые всегда жаловались на Тима, сказали, что будут смотреть каждую трансляцию. Дед Захар долго держал мою руку в своей шершавой ладони и молчал, а потом сказал, что его сестра тоже когда-то уехала наверх и ни разу не пришла в гости, так что я должна обязательно прийти.

Даша приходила каждый вечер, и мы сидели на пожарной лестнице, разговаривая обо всём, кроме Восхождения. Колено у неё зажило, но хромота ещё оставалась, и она ругалась, что теперь её узнает любой надзорщик. Сава после облавы уехал куда-то в Девятую Низину, к родственникам, и Даша осталась без работы, но говорила об этом легко, словно её это совсем не беспокоило.

— Найду что-нибудь, — сказала она в пятницу, в последний вечер. — В сушильню пойду, на твоё место. Тётя Галя меня возьмёт, если ты попросишь.

— Я уже попросила, — ответила я. — Она сказала, что ты слишком маленькая и упадёшь в чан с бельём.

— Я не упаду. — Даша засмеялась и тут же стала серьёзной. — Маша, ты там осторожнее. Помни, о чём я тебе говорила.

— Помню, — сказала я. — Никому ничего не говорить.

Она обняла меня так крепко, что у меня хрустнули рёбра, и быстро ушла, не оборачиваясь, только коса мелькнула в темноте двора. Я долго смотрела ей вслед, а потом поднялась в спальню, где меня ждали Тим и мама. Это была моя последняя ночь дома, и я не знала, когда будет следующая.

Тим сидел на своей койке, поджав ноги, и что-то прятал за спиной. Стоило мне сесть рядом, как он вытащил свёрнутый в трубку лист бумаги и протянул мне, глядя в сторону, как всегда делал, когда стеснялся. Бумагу он, наверное, выпросил в школе, потому что на обороте были напечатаны какие-то таблицы.

— Это тебе, — сказал он. — Чтобы ты не заблудилась.

Я развернула лист и увидела Белую Гавань, нарисованную тщательнее, чем когда-либо на стене. Там были все улицы, мосты и площади, маяк на мысу и корабли в порту, а в самом центре, на высоком холме, стоял маленький дом с садом на крыше. Над домом неровными печатными буквами было написано: «Здесь живёт Маша».

— Это где? — спросила я, хотя горло у меня сжалось так, что слова еле вышли.

— Это там, где мы будем жить, когда ты победишь, — ответил Тим без тени улыбки. — Я знаю, что Белой Гавани нет. Но ты всё равно возьми, ладно? Там всё правильно нарисовано, по ней можно найти дорогу.

Я обняла его, и он уткнулся мне в плечо, сопя носом. Ему было одиннадцать, и через тридцать пять дней ему должно было исполниться двенадцать. Я держала его и думала, что если проиграю, то эта карта будет последним, что он нарисовал не уставшими руками.

Мама в тот вечер была тихой, почти неподвижной. Она сидела на койке и смотрела на свои руки, а когда я позвала её, не обернулась. Я легла рядом с ней, как ложилась в детстве, когда мне снились плохие сны, и положила голову ей на колени. Её пальцы медленно, словно сами собой, начали перебирать мои волосы.

Спальня вокруг нас понемногу засыпала, ряд за рядом. Щёлкали разъёмы над соседними койками, дед Захар кашлял, Луневы шептались, укладывая детей, и над всем этим стоял знакомый ровный гул. Я лежала и слушала мамино дыхание, и мне хотелось запомнить эту минуту так, чтобы её нельзя было ни продать, ни отнять.

Потом мамины пальцы вдруг остановились. Я подняла голову и увидела, что она смотрит на меня, и глаза у неё были совершенно ясными, такими же, как в субботу, только теперь в них не было растерянности. Она наклонилась ко мне так низко, что я почувствовала её дыхание на своём лице.

— Маша, — прошептала она, и голос у неё был её собственный, тот, который я не слышала больше года. — Машенька, послушай меня. Не засыпай при них.

— Что? — Я приподнялась на локте. — Мам, при ком?

— При них. — Мамины пальцы вцепились в мою руку. — Они смотрят, как ты спишь, они всегда смотрят. Папа тоже не спал при них, а они всё равно увидели. Не засыпай, Машенька, слышишь? Притворяйся, но не засыпай.

— Мам, о чём ты? Что увидели? — Я схватила её за плечи. — Мама, что ты знаешь про папу?

Она ничего не ответила на мой вопрос. Она смотрела на меня с такой нежностью и с таким страхом, что у меня перехватило дыхание, а потом погладила меня по щеке и начала петь. Она пела тихо, почти шёпотом, чтобы не услышали соседи, и я узнала колыбельную с первых слов.

— Тише, тише, спит вода, — пела мама. — Спит над крышами звезда. Спит на ветке птичья стая, спи и ты, моя родная…

Я замерла, ожидая, что сейчас она остановится, как останавливалась всегда. Сердце у меня колотилось так громко, что я боялась пропустить хоть одно слово. Мама замолчала на секунду, и я уже почувствовала знакомое разочарование, но она вдохнула и продолжила, медленно, словно вспоминая каждое слово.

— Ночь придёт и ночь уйдёт, — пела она. — Утро в окна свет прольёт. Только сон свой, только свой, никому не отдавай.

Последнюю строчку она пропела так тихо, что я скорее угадала её, чем услышала. Я никогда в жизни не слышала конца этой песни и всегда думала, что его нет. Теперь он был, и он был простым и страшным, как правда, которую все знают и никто не произносит вслух.

Мама закрыла глаза и откинулась на подушку. Я ждала, что она скажет ещё что-нибудь, объяснит, что значили её слова о папе, но она лежала неподвижно, и дыхание у неё было ровным. Через минуту она открыла глаза, посмотрела на меня вежливо и светло, как смотрят на незнакомого человека, и улыбнулась.

— Лида, — сказала она. — Лида, ты почему не спишь? Уже поздно.

— Сейчас лягу, мам, — ответила я, и слёзы покатились у меня по щекам сами, без всхлипов. — Сейчас.

Я легла на свою койку и долго лежала с открытыми глазами, глядя на серый провод над головой. Отец ушёл от нас осенью, когда мне было девять, и я всю жизнь думала, что он просто не захотел больше жить в Седьмой Низине, с долгами, с графиком и с двумя детьми. Мама никогда о нём не говорила, а если я спрашивала, отвечала одно и то же: ушёл на смену и

не вернулся. Соседи шептались, что он сбежал от долгов, и я поверила соседям, потому что маминым словам не хватало конца, как её колыбельной. Теперь она сказала, что он не спал при них и что они всё равно увидели, и я не понимала, что это значит, и боялась понять.

Наверное, это был туман, сказала я себе. Туман смешивал в мамином сознании чужие сны с её собственной памятью, и она говорила то о море, то о Лиде, то о каких-то людях, которые смотрят, как ты спишь. Я повторяла это себе снова и снова, но не могла забыть её глаза, ясные и испуганные, и её голос, который был её собственным.

Никому не отдавай, пела у меня в голове колыбельная. Я сосчитала до ста, потом до двухсот, потом сбилась и начала заново. До пятого мая оставалось тридцать пять дней, до сбора на платформе оставалось семь часов, а за проданные ночи я уже отдала сто двадцать пять снов, которые были моими. Я тронула висок и подумала, что мама допела песню до конца слишком поздно.

Тим спал, раскинув руки, и карта Белой Гавани лежала у меня под подушкой, свёрнутая в трубку. Над станцией у моста светился синий полумесяц, и его свет падал через окно на мамино лицо, делая его бледным и спокойным. Я смотрела на неё до самого утра и так и не уснула, хотя Гордей говорил, что спать нужно при каждой возможности.

* * *

Первого апреля в шесть утра на грузовой платформе у моста было холодно и тихо, как в пустой сушильне. Над рекой висел туман, рельсы блестели от сырости, и где-то за складами кричали чайки, которых в Седьмой Низине было больше, чем людей на этой платформе. Нас было пятеро: четыре кандидата и Гордей, который стоял чуть в стороне, опираясь на перила, и смотрел на воду. Провожающих сюда не пускали, и они толпились за решётчатым забором в конце площади.

Тим стоял у самой решётки, вцепившись в неё пальцами, и рядом с ним стояла Даша в своей единственной куртке. Тётя Нина махала Кириллу обеими руками, а мать Ольги плакала, уткнувшись в плечо мужа. Маму я оставила спящей, потому что не смогла бы попрощаться с ней ещё раз после вчерашнего. Я подняла руку, и Тим замахал мне так отчаянно, что Даша схватила его за воротник, чтобы он не полез через забор.

Платформа подошла бесшумно, длинная и плоская, с низкими бортами, на которой обычно возили ящики с завода. Нас усадили на деревянные скамьи, прикрученные к полу, и Гордей сел последним, вытянув больную ногу поперёк прохода. Платформа дрогнула и поплыла вдоль реки, и Седьмая Низина начала отодвигаться назад, вместе с забором, Тимом, Дашей и синим полумесяцем над станцией.

Я смотрела назад, пока могла различить маленькую фигурку у решётки, а потом её съел туман. Кирилл рядом со мной молчал, что было совсем на него не похоже, и только сжимал колени руками. Ольга тихо плакала, а Пётр Карасёв сидел прямо и смотрел вперёд с таким лицом, будто ехал не наверх, а на суд.

Дорога до Пояса заняла почти час. Сначала мимо тянулись дортуары соседних Низин, такие же серые, как наши, с такими же бельевыми верёвками и разбитыми окнами. Потом дома стали ниже и аккуратнее, улицы шире, и на углах появились деревья, голые и тонкие, но настоящие. Люди здесь ходили в одинаковых тёмно-синих куртках с белыми нашивками, и никто из них даже не повернул головы в нашу сторону.

— Пояс, — сказал Гордей, хотя никто его не спрашивал. — Здесь живут те, кто работает на станциях, в Надзоре и в конторах. Сон продают, когда хотят, а не когда велят. Смотрите и запоминайте, это последний раз, когда вы видите людей, похожих на вас.

— Почему последний? — спросил Кирилл.

— Потому что наверху таких нет, — ответил Гордей и отвернулся.

На станции монорельса нас пересадили в белый вагон, и я впервые в жизни оказалась внутри того, что раньше видела только издалека, с водокачки. Сиденья были мягкими, оби-

тыми гладкой светлой тканью, пол блестел, а в окна во всю стену было видно небо. Вагон тронулся так плавно, что я поняла это только по тому, как поплыли за окном крыши. В нём было так тихо, что я слышала, как стучит моё сердце.

Монорельс поднимался всё выше, по тонкой белой опоре над крышами Пояса, и город внизу становился похожим на карту. Я увидела реку, бурую ленту среди серых кварталов, увидела дым над заводами и наши Низины, сбившиеся у воды, как стадо у водопоя. Отсюда они казались маленькими и совсем неважными. Потом вагон повернул, и в окне появился Зенит.

Я видела его с водокачки сотни раз, но вблизи он оказался совсем другим. Башни поднимались из зелёных холмов, тонкие и белые, и их стеклянные стены отражали небо так чисто, что казалось, будто башни сделаны из воздуха. На каждой крыше рос сад, настоящий, с деревьями и цветами, и ветки покачивались над пустотой, словно им было совсем не страшно. Между башнями тянулись висячие мосты и галереи, а по ним медленно шли люди в светлой одежде.

Вагон остановился у белой платформы, и двери раздвинулись. Я вышла первой и остановилась, потому что воздух здесь был другим. Он пах цветами, мокрой травой и чем-то сладким, чего я не могла назвать, и в нём совсем не было запаха реки, дыма и мокрого бетона. Я дышала и не могла надышаться, а Кирилл за моей спиной рассмеялся от восторга.

Больше всего меня поразила тишина. В Седьмой Низине всегда было шумно, даже ночью: кашляли старики, плакали дети, гудели трубы, скрипели койки и щёлкали разъёмы над головой. Здесь не было слышно ничего, кроме шелеста листьев и далёкой, едва различимой музыки. Люди на платформе разговаривали вполголоса, и шаги их были бесшумными, как у кошек.

Я смотрела на этих людей и не могла понять, что в них странного. Они были красивыми, хорошо одетыми и спокойными, они улыбались друг другу и кивали при встрече. Потом я поняла: за те десять минут, что мы стояли на платформе, никто из них ни разу не зевнул. Я начала считать по привычке и досчитала до ста двадцати человек, но так и не увидела ни одного зевка, ни одних покрасневших глаз, ни одной тени под веками.

— Они не устают, — сказал Кирилл, проследив за моим взглядом. — Им незачем, они же покупают ночи.

— Они почти не спят, — поправила я. — Это разные вещи.

Кирилл посмотрел на меня удивлённо, но ничего не ответил. Гордей махнул нам рукой, и мы пошли за ним по широкой белой дорожке, которая поднималась вверх, на самый высокий холм. По сторонам росли деревья с белыми цветами, и лепестки падали нам на плечи и в волосы. Ольга поймала один лепесток и долго держала его на ладони, боясь сжать пальцы.

Обсерватория стояла на вершине холма, круглая и белая, с огромным стеклянным куполом, который сверкал на солнце. Гордей сказал, что когда-то давно, ещё до Покоя, здесь смотрели на звёзды, а теперь здесь живут кандидаты. Купол был таким большим, что под ним мог бы поместиться весь наш корпус. У входа стояли люди в белых куртках и улыбались нам так же, как улыбалась женщина за стеклом на станции.

Внутри было светло и прохладно, полы сияли, а стены были украшены огромными снимками восходящих прошлых лет. Юноши и девушки смотрели на нас со стен, улыбаясь, в светлой одежде, на фоне садов и башен. Я узнала среди них девушку из Девятой Низины, которую Кирилл столько раз показывал мне в своей листовке, и ещё нескольких, которых видела в видеописьмах. Все они выглядели счастливыми и все смотрели немного мимо камеры.

Нас развели по комнатам, по двое, и мне досталась комната на третьем этаже с окном на восток. Там стояли две кровати, застеленные белоснежным бельём, два стола и шкаф, в котором висела одинаковая светлая одежда разных размеров. Кровать была такой мягкой, что я села на неё и чуть не утонула. Я провела ладонью по простыне и вспомнила белый дом из чужого сна, где простыни были такими же прохладными и тяжёлыми.

Дверь открылась, и в комнату вошла девушка моего возраста, высокая, с тёмной косой, туго уложенной вокруг головы. У неё были резкие скулы, острый подбородок и светлые глаза,

которые смотрели прямо и холодно. Она бросила на свою кровать маленький узелок, который, видимо, сумела пронести мимо всех запретов, и окинула меня быстрым оценивающим взглядом.

— Ремез, — сказала она. — Злата. Третья Низина.

— Колосова, — ответила я. — Мария. Седьмая.

— Я знаю, я слышала список. — Злата села на свою кровать и выпрямила спину. — Сразу скажу, чтобы потом не было обид. Я здесь, чтобы победить, а не дружить. Мне не нужны ни подруги, ни союзники, ни разговоры по ночам. Ты мне не мешаешь, я тебе не мешаю, и всё будет хорошо.

— Договорились, — сказала я. — Мне тоже не нужны разговоры по ночам.

Злата посмотрела на меня с лёгким удивлением, словно ожидала, что я обижусь или начну спорить. Потом она кивнула, отвернулась к окну и больше за весь день не сказала мне ни слова. Я подумала, что с такой соседкой мне будет проще, чем с любой другой, потому что ей нет до меня никакого дела.

Обедали мы в длинном светлом зале на первом этаже, за столами, накрытыми белыми скатертями, и еды там было столько, сколько я не видела за всю свою жизнь. Там был горячий суп с мясом, белый хлеб, который ещё дымился, тушёные овощи, сыр и фрукты, названий которых я не знала. Кирилл съел три тарелки подряд и с тоской смотрел на четвёртую, а Ольга ела медленно и всё время оглядывалась, словно боялась, что еду сейчас унесут. Я поймала себя на том, что прячу в карман яблоко для Тима, и положила его обратно, потому что Тим был далеко внизу и яблоко до него не доедет.

* * *

Вечером всех кандидатов собрали в главном зале под куполом. Нас было ровно сто, и мы сидели на белых скамьях, расставленных полукругом, а над нами сквозь стекло темнело вечернее небо с первыми звёздами. Я никогда не видела столько звёзд, потому что над Низинами всегда стоял дым. Вдоль стен стояли камеры на высоких штативах, и их красные огоньки горели, как глаза.

Кирилл сел рядом со мной, Ольга и Пётр позади нас, а Злата устроилась в первом ряду, прямая, как натянутая струна. Вокруг шептались, переглядывались, разглядывали друг друга, и я поймала себя на том, что считаю лица, пытаясь угадать, кто из них дойдёт до конца. Девяносто девять соперников, и только девять из них могли дойти до конца вместе со мной, если бы дошла я.

На небольшое возвышение в центре зала вышла Илона Вест, и зал сразу затих. Вживую она была ещё красивее, чем на экране, и её голос заполнил весь купол, мягкий и тёплый. Она поздравила нас, сказала, что мы лучшие из лучших и что весь Мерид смотрит на нас с гордостью. Камеры повернулись к нам, и я почувствовала, как их красные глаза ощупывают моё лицо.

— А теперь позвольте представить тех, кто будет вести вас по пути Восхождения, — сказала Илона Вест. — Ваших кураторов.

На возвышение поднялись шесть человек в светлых костюмах. Первой вышла высокая женщина с седыми волосами, гладко зачёсанными назад, и Илона назвала её старшим куратором, Елизаветой Строговской. Строговская коротко поклонилась и сказала несколько слов о чести и ответственности, ровным и сухим голосом. За ней по очереди выходили другие кураторы, и я слушала их имена вполуха, пока Илона Вест не назвала последнего.

— Младший куратор Роман Михайлович Ланской, — сказала она с особенной теплотой. — Сын главы Комиссии Восхождения, который в этом году впервые помогает кандидатам.

Он вышел вперёд, и у меня остановилось сердце. Высокий, светловолосый, лет семнадцати, в светлом костюме, с тем самым спокойным лицом, которое я видела во сне. Я узнала

его сразу, с первого взгляда, так же твёрдо, как узнала бы Тима в любой толпе. Это был тот юноша, который стоял на коленях у кресла в белом доме и держал за плечи своего брата.

Зал вокруг меня поплыл, и я вцепилась пальцами в край скамьи. Я видела его самую страшную ночь, я чувствовала его боль под своими рёбрами, я слышала, как он просил брата вспомнить красного змея. Я знала его так, как не знал, наверное, никто в этом зале, а он стоял на возвышении и смотрел на сто кандидатов, не зная обо мне ничего.

— Ты чего? — шепнул Кирилл и толкнул меня локтем. — Колосова, ты белая, как стена. Тебе плохо?

— Нормально, — ответила я, не отрывая глаз от возвышения. — Просто душно.

Роман Ланской сказал несколько коротких вежливых слов голосом, который я тоже узнала. Он говорил о том, что рад работать с нами и надеется быть полезным, и в его словах не было ничего, кроме правильной вежливости. Я смотрела не на его лицо, а на его руки, потому что знала, что всё настоящее у него живёт там. Руки были спокойными, пальцы свободно лежали на тонкой папке, и ничего в них не выдавало той ночи.

Ланской, повторяла я про себя, сын главы Комиссии Восхождения. Значит, тот, кого юноша во сне звал Глебом, тоже был Ланским, а белый дом с садом на крыше стоял где-то здесь, среди этих башен. Значит, голос за дверью, низкий и спокойный, который сказал «так было нужно», мог принадлежать его отцу. Я не хотела додумывать эту мысль и не могла её остановить.

Кураторы спустились с возвышения и пошли между рядами, знакомясь с кандидатами. Илона Вест улыбалась в камеры, кандидаты вставали, пожимали руки, отвечали на вопросы, и в зале стало шумно. Я сидела неподвижно и смотрела, как Роман Ланской идёт по проходу, останавливаясь у каждого ряда. С каждым его шагом мне становилось всё труднее дышать.

Он остановился у нашего ряда и посмотрел на нас вежливо и внимательно, как смотрел на всех. Его взгляд скользнул по Кириллу, по мне, по Ольге и Петру, и ни на ком не задержался дольше, чем на других. Он не узнал меня, потому что не мог узнать: он никогда не видел моего лица и не знал, что ночь, которую он купил, продала девушка из подвала прачечной.

— Седьмая Низина, — сказал он, заглянув в свою папку. — Как вы доехали? Всё ли устраивает в комнатах?

— Всё отлично, — ответил Кирилл и широко улыбнулся. — Тут как во сне, честное слово.

— Мы просто очень устали с дороги, — добавила Ольга и смущённо улыбнулась. — Простите, мы, наверное, выглядим ужасно.

Роман Ланской улыбнулся ей вежливо, и лицо его не изменилось ни на долю. Я смотрела на его руки и увидела, как пальцы на папке сжались так, что побелели костяшки, и через секунду разжались снова. Это длилось одно мгновение, такое короткое, что никто, кроме меня, этого не заметил. Он пожелал нам хорошего отдыха и пошёл дальше, к следующему ряду, ровным, спокойным шагом.

Я смотрела ему вслед и чувствовала, как под рёбрами просыпается та самая тупая боль, которая жила во мне с двадцатого марта. Слово «устали» ударило его так же, как ударило бы меня слово «туман». Он слышал его от брата в белой комнате, и теперь оно, наверное, било его каждый раз, когда кто-нибудь произносил его вслух.

* * *

Ночью я долго не могла уснуть на слишком мягкой кровати. Злата спала, отвернувшись к стене, ровно и бесшумно, а я лежала и смотрела в окно, где над тёмными садами горели огни башен. Город внизу светился мягким белым светом, и нигде не было видно ни одного синего полумесяца, потому что здесь сон не продавали, а только покупали.

Я думала о Романе Ланском. О том, что он ходит по этим белым коридорам с вежливой улыбкой, а дома, в одной из этих башен, в кресле у окна сидит его брат и смотрит в сад, никого

не узнавая. О том, что он искал чужую ночь на чёрном рынке, хотя мог купить её открыто, и что, наверное, у него была для этого причина. О том, что он помог бы мне понять, чей голос звучал за дверью, если бы я могла его спросить.

Я не могла его спросить, и я это понимала. Признайся я ему, что видела его сон, мне пришлось бы рассказать и всё остальное: про подвал Савы, про сто двадцать пять ночей, про то, что я помню чужие сны, хотя этого не может никто. В Низинах шёпотом рассказывали про ясных, которые не теряют себя в чужом сне и воруют его, и я не знала, что делают с такими в Зените, но догадывалась, что ничего хорошего.

До пятого мая оставалось тридцать четыре дня, а до первого испытания, наверное, ещё меньше. Я тронула висок, где не было обруча, и подумала о маме, которая шептала мне не засыпать при них. Теперь я понимала, кто такие «они», хотя бы отчасти: это были люди в белых куртках, камеры с красными глазами и вежливые кураторы со спокойными лицами. Я лежала в лучшей постели, какую видела в жизни, и боялась закрыть глаза.

Потом я вытащила из-под подушки карту Белой Гавани и развернула её в лунном свете. Маленький дом на холме, сад на крыше и неровные буквы: «Здесь живёт Маша». Я смотрела на неё, пока буквы не начали расплываться, и думала о том, что Тим нарисовал мне дом, очень похожий на белый дом из чужого сна, хотя никогда его не видел. Я сложила карту, спрятала её обратно и начала считать, медленно, до тысячи, и считала, пока за окном не погасли огни башен.

Глава 4

Утром второго апреля нас разбудил мелодичный звон, который шёл как будто из самих стен. Свет в комнате загорелся сам, сначала тусклый, потом всё ярче, пока не стал похож на солнечное утро, хотя за окном ещё только серело. Злата вскочила с кровати мгновенно, будто и не спала, и сразу начала заправлять постель, натягивая простыню так туго, что на ней не осталось ни одной складки. Я лежала и смотрела в потолок, пытаясь вспомнить, где нахожусь.

Ночью я так и не уснула по-настоящему. Я считала до тысячи, потом до двух, потом сбивалась и начинала заново, а под утро провалилась в тяжёлую дрёму без снов, из которой меня и выдернул звон. Голова была тяжёлой, глаза резало, и я подумала, что выгляжу сейчас как настоящая донорша из Седьмой Низины, которой меня здесь, наверное, и считали.

— Завтрак через двадцать минут, — сказала Злата, не оборачиваясь. — Потом общий сбор в зале. Не опаздывай, за опоздания снимают баллы.

— Откуда ты знаешь про баллы? — спросила я.

— Читала правила, — ответила она, разглаживая последнюю складку на одеяле. — Там на столе лежат, в синей папке. Ты бы тоже почитала.

Я почитала правила за завтраком, пока Кирилл рассказывал Ольге и Петру, что у него в комнате есть кнопка, которая сама открывает шторы. В синей папке было двенадцать страниц мелким шрифтом, и половина из них начиналась словами «кандидату запрещается». Кандидату запрещалось покидать Обсерваторию без сопровождения куратора, входить в чужие комнаты после отбоя, обсуждать с другими кандидатами результаты проверок и прятать что-либо от медицинского персонала. Баллы, о которых говорила Злата, начислялись за дисциплину и шли в общий счёт наравне с результатами этапов.

* * *

В зале под куполом нас снова рассадили полукругом, и камеры снова зажгли свои красные глаза. На возвышении стояла трибуна из белого камня, а над ней висел огромный синий полумесяц, знак самого «Гипноса», а не станции, и вчера его здесь не было. Кураторы сидели в стороне, шесть светлых костюмов в один ряд, и Роман Ланской сидел с краю, глядя прямо перед собой. Я старалась на него не смотреть и всё равно смотрела.

Рядом с Кириллом сел широколицый парень с веснушками, который сразу протянул ему руку и представился Артёмом Сомовым из Третьей Низины. Через минуту они уже болтали, как старые знакомые, потому что Кирилл умел подружиться с кем угодно быстрее, чем я успевала запомнить имя. Артём кивнул на первый ряд, где сидела Злата, и сказал, что она у них в Третьей лучшая во всём, от бега до задач, и что с ней лучше не связываться. Я ответила, что живу с ней в одной комнате, и Артём посмотрел на меня с искренним сочувствием.

Илона Вест вышла на возвышение и объявила, что сейчас к нам обратится глава Комиссии Восхождения, член Совета «Гипноса» Михаил Аркадьевич Ланской. Зал встал, потому что встала она, и я встала вместе со всеми. Из боковой двери вышел высокий мужчина в тёмном костюме и неторопливо поднялся к трибуне.

Ему было лет пятьдесят, у него были седые виски, прямая спина и спокойное лицо, на котором ничего нельзя было прочесть. Он был похож на Романа так, как бывает похож на человека его будущий портрет, только черты у него были резче, а глаза холоднее. Он положил руки на трибуну, обвёл зал долгим взглядом и подождал, пока все сядут.

— Вы были выбраны, — сказал Михаил Ланской.

У меня перехватило дыхание, и я вцепилась в край скамьи так же, как вчера. Голос был низким и совершенно спокойным, без единой лишней ноты, и я узнала его так же сразу, как узнала лицо Романа. Именно этот голос я слышала в ту ночь за закрытой дверью белого

дома, именно он произнёс ту фразу, которую я помнила лучше собственного имени: «Так было нужно». Теперь я знала, кому он принадлежал.

— Ваш сон был признан лучшим в Низинах, — продолжал Михаил Ланской, и его голос заполнял купол так же ровно, как вода заполняет сосуд. — Это решение было принято на основании объективных данных. Каждый из вас был отобран по результатам ежегодной сомнограммы, и ни один из вас не оказался здесь случайно.

Я смотрела на его руки, лежавшие на трибуне, и они были совершенно неподвижны. В отличие от сына, у него не было никаких тайных мест, где жили бы чувства, или он спрятал их так глубоко, что их уже нельзя было найти. Он говорил о великой истории Восхождения, о предыдущих Восхождениях честного отбора и о том, что Мерид гордится своими лучшими детьми.

— Испытания будут проведены в пять этапов, — говорил он. — Каждый этап будет транслироваться для всего города. Результаты будут оценены специалистами Комиссии. Кандидатам будет обеспечено всё необходимое: питание, отдых и медицинская забота. Ни один кандидат не будет оставлен без внимания.

Он ни разу не сказал «я» и ни разу не сказал «мы». Решения у него принимались, данные оценивались, кандидаты отбирались, и никто никогда ничего не делал своими руками. Я слушала и думала о том, что так же говорила женщина за стеклом на станции, так же говорила Илона Вест, так же говорил надзорщик на набережной, когда уводил затуманенного: «вам нужен отдых». Голос «Гипноса» был одним и тем же во всех ртах, только у Михаила Ланского он звучал так, будто он и был его источником.

— Те, кто дойдёт до конца, станут восходящими, — закончил Михаил Ланской. — Их семьи будут освобождены от долгов. Те, кто не дойдёт, будут с благодарностью возвращены в свои округа, где их вклад также будет принят. Восхождение справедливо, потому что оно одинаково для всех. Благодарю вас.

Зал зааплодировал, и я хлопала вместе со всеми, чувствуя, как немеют ладони. Михаил Ланской спустился с возвышения, кивнул кураторам и вышел в ту же боковую дверь, ни разу не оглянувшись. Роман проводил отца взглядом, и я заметила, как он медленно положил ладонь на колено и прижал её, словно не давая руке сжаться.

— Сильно говорит, — прошептал Кирилл, и глаза у него блестели. — Прямо мурашки по коже.

— У меня тоже мурашки, — ответила я, и это была правда, только совсем другая.

* * *

После речи нас повели на медицинские проверки. Белый коридор на втором этаже был разделён на кабинеты, и мы ходили из одного в другой по номерам, как бельё в сушильне переходит с верёвки на верёвку. Нас взвешивали, измеряли, слушали сердце, брали кровь из пальца и из вены, светили фонариком в глаза и стучали молоточками по коленям. Врачи и медсёстры были вежливыми, улыбчивыми и совершенно одинаковыми, как будто их всех сделали по одному образцу.

Кирилл на весах пошутил, что весит больше, чем все его кредиты вместе взятые, и медсестра вежливо улыбнулась, не поняв шутки. Ольга побледнела, когда у неё брали кровь, и Пётр держал её за руку, хотя сам был бледнее её. Злата проходила кабинеты молча и быстро, не глядя по сторонам, и каждый раз, когда я её видела, она уже выходила из следующей двери.

В последнем кабинете меня посадили в мягкое кресло перед столом, за которым сидела немолодая женщина с короткими серебристыми волосами. На груди у неё висела табличка «Доктор В. Ольшанская», а перед ней светился экран, на который она смотрела гораздо чаще, чем на меня. Она задавала вопросы ровным голосом и отмечала ответы, не поднимая глаз.

— Продавали ли вы когда-нибудь свой сон? — спросила она.

— Нет, — ответила я, и сердце у меня ударило один раз, тяжело и громко. — Мне шестнадцать, это запрещено.

— Запрещено, — согласилась доктор Ольшанская и что-то отметила. — Помните ли вы свои сны по утрам?

— Иногда. — Я помедлила, выбирая слова. — Не очень часто.

— Что вам снится чаще всего?

Я подумала о белом доме, о юноше у кресла, о тёмной воде, в которой тонула женщина, учившая регламенты. Я подумала о шестерёнках и о мёртвой собаке, о чужом пожаре из моей первой проданной ночи. Ничего из этого не было моим, и ничего из этого нельзя было назвать вслух.

— Мне снится брат, — сказала я. — Ему одиннадцать, он рисует карты городов, которых нет. Иногда мне снится, что я хожу по его городам.

Доктор Ольшанская впервые подняла на меня глаза и посмотрела долго и внимательно, словно взвешивала мои слова на невидимых весах. Потом она снова опустила взгляд на экран и что-то напечатала, медленнее, чем раньше. Я сидела и ждала, чувствуя, как по спине ползёт холодная капля пота.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Сегодня ночью вы будете спать под датчиками, как все кандидаты. Это обычная запись, не волнуйтесь. Постарайтесь просто хорошо отдохнуть.

* * *

Датчики оказались тонким белым обручем, очень похожим на те, что надевали в подвале Савы, только легче и без холодных пластин. От обруча тянулся мягкий провод к маленькому серому блоку на стене у изголовья, и на блоке горел ровный зелёный огонёк. Медсестра, которая надевала мне обруч, сказала, что это не передача, а только запись, и что никто не возьмёт у меня ни минуты сна. Я поблагодарила её и подумала, что в Седьмой Низине никто не стал бы объяснять разницу.

Злата легла под свой обруч без единого слова и через пять минут уже спала, ровно и глубоко, отвернувшись к стене. Я лежала на спине и смотрела в потолок, слушая, как тихо гудит блок у изголовья. Где-то в коридоре сидела дежурная медсестра, и я знала, что на её экране среди десятков других сейчас ползут две линии, моя и Златы, и что она смотрит на них всю ночь.

Мама говорила: притворяйся, но не засыпай. Я не знала, как притворяться перед прибором, который видит сон изнутри, но знала одно средство, которое всегда помогало мне в подвале. В те минуты, когда чужой сон становился слишком тяжёлым, я отступала от него и начинала считать, и счёт держал меня на краю, не давая провалиться ни в чужую память, ни в свою темноту. Я решила, что сделаю то же самое, только теперь буду держаться на краю собственного сна.

Я закрыла глаза и начала считать. Один вдох, два, три, медленно и ровно, как дышат спящие. Я считала вдохи, потом удары сердца, потом шаги от нашего дортуара до прачечной, все четыреста восемнадцать, один за другим, и представляла каждый шаг, каждую лужу и каждую трещину в асфальте. Тело понемногу тяжелело, расслаблялось, и я чувствовала, как сон подходит ко мне со всех сторон, тёплый и мягкий.

Где-то на трёхсотом шаге я поняла, что иду уже не по Седьмой Низине. Улица под ногами была широкой и светлой, по обеим сторонам стояли маленькие квадратные дома, а впереди, за последним поворотом, блестело море. Я узнала эти дома, эти мосты и этот маяк на мысу, потому что видела их на стене у койки Тима сотни раз. Я шла по Белой Гавани, и это был мой собственный сон, первый за полгода.

На секунду мне стало так хорошо, что захотелось остаться здесь навсегда. Море было тёплым и тихим, над ним кричали чайки, и в воздухе пахло морской солью, которой я никогда не знала. Потом я вспомнила белый коридор, тонкий обруч на голове и дежурную медсестру с

экраном, и поняла, что всё это сейчас видно на её мониторе. Я отступила на шаг от моря, как отступала от чужих снов, и начала считать заново.

Белая Гавань дрогнула и поплыла, дома стали прозрачными, море превратилось в серый туман. Я держалась на самом краю, там, где сон встречается с явью, и считала, считала, считала, пока числа не стали больше, чем я умела называть. Так прошла, наверное, вся ночь, хотя я не могла бы сказать, сколько её было на самом деле. Иногда я соскальзывала в дрёму, и тогда снова видела улицы города Тима, но каждый раз отступала и возвращалась к счёту.

Утром меня разбудил тот же мелодичный звон, и я открыла глаза с чувством, будто всю ночь таскала мешки с мокрым бельём. Злата уже сидела на кровати, свежая и бодрая, и заплетала косу. Медсестра пришла снять с нас обручи и улыбнулась мне так же тепло, как вечером, но я заметила, что она задержала взгляд на сером блоке у моего изголовья на секунду дольше, чем у изголовья Златы.

— Как спалось? — спросила она.

— Хорошо, — соврала я. — Только кровать слишком мягкая.

— Привыкнете, — сказала медсестра и унесла обручи, бережно свернув провода.

За завтраком Кирилл рассказывал, что спал как камень и не видел ни одного сна, и что обруч на голове совсем не мешал. Ольга сказала, что ей снилась мама, а Пётр только покачал головой, когда его спросили про сны, и посмотрел в тарелку. Я ела кашу и молчала, потому что не могла рассказать им ни про Белую Гавань, ни про то, как всю ночь держалась на краю собственного сна. Мне впервые в жизни было завидно, что кто-то спит как камень.

* * *

Днём третьего апреля нас собрали в зале и раздали расписание на ближайшие дни. Раздавали его кураторы, каждый своей группе, и нашей Седьмой Низине вместе с Восьмой и Девятой достался Роман Ланской. Он шёл вдоль ряда и вручал каждому плотный белый лист, называя каждого только по фамилии, как будто зачитывал список.

— Шестаков, — сказал он и протянул лист Кириллу. — Блинова. Карасёв. Колосова.

Я взяла лист из его рук, и наши пальцы на мгновение оказались совсем рядом. Руки у него были спокойными, ногти ровно подстрижены, на безымянном пальце левой руки белел тонкий старый шрам, которого я не заметила во сне. Он посмотрел на меня так же, как смотрел на всех, вежливо и без всякого интереса, и уже повернулся к следующему кандидату.

— Господин куратор, — услышала я собственный голос раньше, чем успела подумать. — Можно вопрос?

Роман остановился посреди прохода и обернулся. В его глазах не было ни раздражения, ни любопытства, только ровное внимание человека, который выполняет свою работу. Кирилл рядом со мной удивлённо приподнял брови.

— Слушаю вас, Колосова.

— Что будет на первом этапе? — спросила я, потому что не могла спросить ничего другого. — В расписании написано только «Тишина».

— Условия этапа будут объявлены перед его началом, — ответил Роман ровным голосом, очень похожим на голос его отца. — Всем кандидатам одновременно, чтобы ни у кого не было преимущества. Ещё вопросы?

— Нет, господин куратор, — сказала я.

Он кивнул и пошёл дальше, и я смотрела ему в спину, пока он не дошёл до конца ряда. Он был холоден и корректен, как и полагалось младшему куратору, сыну главы Комиссии, и в нём не было ничего от того юноши, который стоял на коленях у кресла и почти кричал брату про красного змея. Я подумала, что, наверное, он научился так прятаться у отца, и что это умение стоило ему очень дорого.

Кирилл толкнул меня локтем, когда Роман отошёл достаточно далеко. Он смотрел на меня с весёлым удивлением, будто я выкинула какой-то неожиданный фокус. Артём Сомов, сидевший по другую сторону от него, тоже повернулся и посмотрел на меня с любопытством.

— Ты чего к нему полезла? — шепнул Кирилл. — Он же ледяной, как река в январе. Таких ни о чём не спрашивают.

— Просто хотела знать, — ответила я. — Ты разве не хочешь?

— Я хочу знать, что дают на ужин, — сказал Кирилл и подмигнул. — Остальное я и так узнаю.

Я опустила глаза на расписание. Первый этап начинался завтра, четвёртого апреля, в восемь утра, и назывался одним словом: «Тишина». До пятого мая оставалось тридцать два дня, и где-то в этом белом здании, на чьём-то экране, уже лежала запись моей первой ночи под датчиками. Я не знала, что на ней увидели, и это незнание было хуже любого ответа.

* * *

Зал, в который нас привели утром четвёртого апреля, находился под главным куполом, на два этажа ниже земли. Мы спускались туда по широкой белой лестнице, сто кандидатов в одинаковой светлой одежде, и шаги наши звучали глухо, как в подвале. Стены зала были белыми и гладкими, без единого окна, пол мягко пружинил под ногами, а потолок светился ровным холодным светом. Вдоль одной стены тянулся длинный ряд кроватей, застеленных белоснежным бельём, с пухлыми подушками и откинутыми одеялами.

Кровати были первым, что я увидела, и я сразу поняла, что они здесь не для отдыха. Их было ровно сто, по одной на каждого, и они стояли так близко к нам, что до ближайшей можно было дойти за десять шагов. Над каждой кроватью висела маленькая табличка с надписью, и я подошла поближе, чтобы прочитать. На табличке аккуратными буквами было написано: «Лягте, и вы свободны».

На противоположной стене, высоко под потолком, тянулась длинная тёмная полоса стекла. Сквозь неё ничего не было видно, но я знала, что за ней кто-то есть: кураторы, врачи, камеры и, может быть, сам Михаил Ланской. Нам надели на запястья тонкие белые браслеты, мягкие и тёплые, и медсестра объяснила, что браслеты слушают сон.

Старший куратор Строговская вышла на середину зала и подождала, пока мы затихнем. Её седые волосы в холодном свете казались почти голубыми, а голос звучал так же сухо, как в первый вечер. Она держала в руках тонкую папку, но ни разу в неё не заглянула.

— Первый этап называется «Тишина», — сказала она. — Его условия просты. Вы должны провести без сна семьдесят два часа, до восьми утра седьмого апреля. Браслет фиксирует засыпание. Если вы уснёте дольше чем на одну минуту или ляжете на кровать, этап для вас будет завершён. Еда и вода будут подаваться регулярно. Покидать зал запрещено. Этап пройдут не более шестидесяти кандидатов. Если к его концу вас останется больше, решение будет принято по показаниям браслетов.

— А если нас останется меньше шестидесяти? — спросил кто-то из задних рядов.

— Тогда этап пройдут все, кто останется, — ответила Строговская. — Желаю удачи.

Она ушла, и тяжёлая белая дверь закрылась за ней с мягким щелчком. Сто человек стояли посреди зала и смотрели друг на друга, а потом кто-то нервно засмеялся, и все вдруг заговорили разом. Кирилл повернулся ко мне и улыбнулся широко и бесшабашно, как будто нас позвали на праздник.

— Семьдесят два часа, — сказал он. — Подумаешь. Я однажды двое суток не спал, когда отца на барже ждали из шторма.

— Ты тогда спал на пристани, — напомнила я. — Тётя Нина рассказывала.

— Это был не сон, это была дрёма, — возразил Кирилл. — Дрёма не считается.

— Здесь считается, — сказала я и посмотрела на свой браслет. — Здесь считается всё.

Осталось 72 часа

Первые часы прошли легко, почти весело. Кандидаты сидели на мягком полу кружками, знакомились, рассказывали о своих Низинах и о том, кто как попал в список. Кирилл переходил от одного кружка к другому и через час знал, кажется, всех по именам. Артём Сомов научил нас игре со счётом, где нужно хлопать в ладоши на каждом седьмом числе, и мы играли в неё, пока не надоело.

Злата сидела одна у стены, обхватив колени руками, и ни с кем не разговаривала. Она смотрела перед собой и иногда шевелила губами, словно повторяла что-то про себя. Несколько раз к ней подходили, пытались заговорить, но она отвечала одним-двумя словами и отворачивалась, и от неё быстро отставали.

Еду приносили каждые четыре часа: тёплый суп, хлеб, фрукты и большие кувшины с водой. После обеда все убедились, что от воды и супа никого не клонит в сон, и вздохнули с облегчением. Я ела и считала часы, и к вечеру первого дня у меня получилось двенадцать.

Вечером свет в зале изменился. Он стал тёплым и золотистым, как свет лампы под абажуром, и откуда-то сверху полилась тихая музыка, медленная и мягкая. Это была колыбельная, не наша, а какая-то другая, незнакомая, но от неё веки сразу налились тяжестью. Кровати вдоль стены в этом свете выглядели так уютно, что на них было больно смотреть.

Первый кандидат лёг на кровать через два часа после начала музыки. Это был худой мальчик из Первой Низины, который весь день не сказал ни слова. Он встал, подошёл к ближайшей кровати, лёг лицом в подушку и сразу уснул, и почти сразу в зал вошли двое в белом и бережно вынесли его на руках. Все смотрели им вслед, и никто не сказал ни слова.

К полуночи легли ещё шестеро. Они ложились по-разному: кто-то плакал и извинялся, кто-то ругался, кто-то просто падал на кровать, как подкошенный. Каждого уносили бережно, укрыв одеялом, и под мягкую музыку это было похоже на похороны, только все оставались живыми.

Осталось 48 часов

Вторые сутки оказались совсем другими. К утру тело стало тяжёлым и чужим, руки и ноги двигались с опозданием, как будто их приходилось уговаривать. Свет снова стал холодным и резким, музыка смолкла, и вместо неё под потолком время от времени раздавался громкий гудок, от которого все вздрагивали. Тишина между гудками была такой плотной, что я слышала, как стучит кровь у меня в ушах.

Я знала эту тяжесть лучше, чем многие здесь, потому что полгода не спала по-настоящему. Чужие сны отнимали у меня отдых, а своих снов у меня не было, и я давно привыкла жить с усталостью, как с постоянным соседом. Тело при этом хотело своего, и с каждым часом оно хотело этого всё сильнее, не обращая внимания на мою привычку.

Около полудня под потолком раздался голос, мягкий и знакомый, очень похожий на голос Илоны Вест. Он объявил, что этап завершён досрочно, что шестьдесят кандидатов определены и что все могут лечь и отдохнуть. По залу прокатился стон облегчения, и человек двадцать сразу бросились к кроватям.

— Стойте! — закричал Кирилл, вскакивая. — Это неправда! Двери закрыты, никто не пришёл!

Его услышали далеко не все в зале. Девять человек успели лечь, прежде чем остальные поняли, что двери действительно закрыты, что никто не пришёл и что голос под потолком замолчал. Девятерых вынесли так же бережно, как и остальных, и одна девушка, уже на руках у людей в белом, кричала, что так нечестно. Её крик затих за дверью, и в зале снова стало тихо.

Ольга Блинова держалась до вечера второго дня. Она сидела рядом со мной, положив голову мне на плечо, и рассказывала о своей маме, о младших сёстрах, о задачах, которые решала в школе быстрее всех. Потом она замолчала на полуслове, и я почувствовала, как её голова тяжелеет у меня на плече. Я потрясла её, и она открыла глаза, мутные и испуганные.

— Я не могу больше, — прошептала Ольга. — Маша, я правда больше не могу. У меня перед глазами пауки ползут по стенам.

— Это не пауки, — сказала я. — Это просто усталость. Держись, осталось полтора дня.

— Я не могу, — повторила Ольга и заплакала. — Прости меня. Скажи маме, что я старалась.

Она встала и пошла к кроватям, шатаясь, как больная, и я не стала её останавливать, потому что видела её глаза. Пётр Карасёв поднялся было за ней, но я схватила его за руку, и он сел обратно, глядя ей вслед. Ольга легла на кровать, свернулась клубком и уснула раньше, чем коснулась подушки щекой. Её вынесли, и Пётр долго смотрел на закрытую дверь, а потом отвернулся к стене.

Через час он сам заговорил со мной, впервые с тех пор, как мы уехали из Седьмой Низины. Говорил он медленно, запинаясь на первых звуках, и я вдруг поняла, почему он всегда молчал: Пётр заикался и стеснялся этого больше, чем бедности. Он рассказал, что живёт с бабушкой, которая продаёт сон уже сорок лет и почти ничего не видит, и что в августе, когда ему исполнится семнадцать, он сам ляжет под обруч на соседней с ней койке, а если вылетит из Восхождения, то ещё раньше. Я слушала и не перебивала, а он говорил всё свободнее, словно бессонница сняла с его языка какой-то замок.

* * *

Ночью второго дня я начала засыпать стоя. Я этого не замечала, и это было самым страшным: мне казалось, что я стою у стены и считаю, а на самом деле я уже не считала, а стояла с закрытыми глазами, и мир вокруг уплывал. Мне снилась сушильня, горячие трубы и мокрые простыни, которые я развешивала на бесконечной верёвке. Потом простыни стали белыми стенами, верёвка натянулась, и я начала падать вперёд, в мягкую тёплую темноту.

Резкий толчок в плечо отбросил меня к стене, и я открыла глаза. Сердце колотилось так, будто я пробежала по всем крышам Седьмой Низины. Передо мной стояла Злата, бледная, с тёмными кругами под глазами, и смотрела на меня холодно и спокойно.

— Ты спала, — сказала она. — Секунд сорок, не больше.

— Спасибо, — выдохнула я, хватаясь за стену. — Злата, почему ты…

Она не дослушала меня до конца. Она повернулась и ушла к своему месту у противоположной стены, села, обхватила колени руками и снова уставилась перед собой. Я смотрела на неё и не понимала, зачем девушка, которая пришла сюда побеждать, а не дружить, разбудила соперницу за двадцать секунд до конца её Восхождения.

Утром я подошла к ней снова, пока остальные ели. Злата сидела, не притронувшись к своему хлебу, и смотрела в пол. Она не подняла на меня глаз, когда я села рядом.

— Зачем ты меня разбудила? — спросила я, наклонившись к ней.

— Не твоё дело, — ответила Злата, не глядя на меня. — Иди ешь, пока дают.

— Я хочу знать.

— А я не хочу объяснять. — Злата наконец посмотрела на меня, и в её светлых глазах мелькнуло что-то, чего я не смогла прочесть. — Мы не подруги, Колосова. Не придумывай лишнего.

Я встала и ушла, так и не получив ответа. Злата снова уставилась в пол, и мне показалось, что её плечи чуть заметно вздрогнули, но я не была в этом уверена. Тогда я впервые подумала, что под её холодом прячется что-то, о чём она не говорит никому.

Осталось 24 часа

Третьи сутки я помню плохо, обрывками, как помнят горячку. Свет менялся каждые несколько часов, музыка то включалась, то выключалась, гудки раздавались в самые неожиданные моменты. Стены зала иногда начинали медленно дышать, а пол уходил из-под ног, хотя я знала, что ни стены, ни пол не двигаются. Многие разговаривали сами с собой, кто-то сме-

ялся без причины, кто-то плакал, а один парень из Шестой Низины всё время пытался поймать что-то невидимое в воздухе.

Днём я увидела на белой стене напротив сад. Он проступил сквозь гладкую поверхность медленно, как проступает рисунок на запотевшем стекле, и я узнала деревья, ровный свет без теней и кресло у окна. В кресле сидел светловолосый человек в домашней рубашке и смотрел мимо меня, и я знала, что если подойду ближе, то услышу его вежливый голос. Я закрыла глаза, сосчитала до двадцати, а когда открыла их, на стене снова была только гладкая белизна.

Около полудня один парень из Восьмой Низины забрался в дальний угол, за спины других, и сел там, уронив голову на колени, будто просто отдыхал. Через минуту в зал вошли двое в белом, прошли прямо к нему, не глядя по сторонам, и бережно подняли его на руки. Браслет на его запястье слушал сон лучше любого соседа, и никакой угол в этом зале не мог спрятать спящего. После этого никто больше не пытался обмануть браслеты, и все сидели на виду, посреди зала, под холодным светом.

Кирилл держался лучше всех, но к вечеру третьего дня и он начал сдавать. Он стал говорить медленнее, путал слова и иногда замолкал посреди фразы, глядя в пустоту. Я видела, как он борется, как трёт глаза кулаками и щиплет себя за руку, и понимала, что скоро он сломается, как сломалась Ольга.

— Кирилл, — сказала я и взяла его за руку. — Давай считать вместе. Вслух.

— Зачем? — спросил он, и голос у него был хриплым и чужим.

— Затем, что, пока считаешь, не уснёшь. — Я сжала его пальцы. — Я так всю жизнь делаю. Раз.

— Два, — сказал Кирилл, глядя на меня мутными глазами.

— Три, — сказала я.

Мы считали вслух, по очереди, сначала до ста, потом до тысячи, потом дальше. Числа становились длинными и неуклюжими, мы путались и начинали заново, и Кирилл иногда смеялся, когда сбивался, и этот смех держал его лучше любого счёта. Потом, когда я начала сдавать сама, он заговорил, и говорил без остановки, рассказывая обо всём на свете, лишь бы не дать мне замолчать.

Он рассказывал про отца, который погиб на барже, когда Кириллу было восемь, и про то, как они с матерью каждую весну ходили на реку и бросали в воду бумажные кораблики. Он рассказывал про нашу первую крышу, когда нам было по двенадцать и я испугалась прыгнуть, а он держал меня за руку. Он рассказывал про квартиру в Зените, про балкон, про большой фонарь, которым будет махать мне каждый вечер. Он говорил так долго, что голос у него сел до шёпота, и я держалась за этот шёпот, как за верёвку над пропастью.

Где-то посреди ночи за тёмным стеклом под потолком зажёгся слабый свет, и я увидела силуэт. Человек стоял у самого стекла, высокий и неподвижный, и смотрел вниз, в зал, на нас. Я не могла разглядеть лица, но почему-то была уверена, что это Роман Ланской. Он стоял там очень долго, и когда я в следующий раз подняла голову, его уже не было.

К рассвету нас осталось шестьдесят три. Мы легли бы на пол, если бы не боялись уснуть, но мы сидели, прислонившись к стенам и друг к другу, и смотрели на пустую стену, где каждому мерещились часы, хотя никаких часов в зале не было. Кирилл сидел рядом со мной, наши плечи соприкасались, и мы оба держались за это соприкосновение, как за последнее, что осталось настоящим.

Последние трое встали почти одновременно, за полчаса до конца. Высокая девушка из Пятой Низины, парень из Четвёртой и ещё кто-то, кого я не успела разглядеть. Они шли к кроватям медленно, как во сне, и легли рядом, и их вынесли одного за другим.

* * *

Гонг прозвучал в восемь утра седьмого апреля, низкий и протяжный, и стены зала задрожали от его гула. Белая дверь открылась, и в зал вошла Строговская, а за ней Илона Вест в

сопровождении камер. Илона Вест улыбалась, и её улыбка показалась мне в этот момент самой страшной вещью на свете.

— Поздравляем, — сказала она. — Шестьдесят кандидатов прошли первый этап. Вы показали Мериду, на что способны дети Низин.

Я сидела у стены и не могла встать. Кирилл рядом со мной смеялся тихим, хриплым смехом и повторял, что мы прошли, что мы оба прошли. Пётр Карасёв сидел напротив, закрыв лицо руками, и плечи у него тряслись. Злата стояла у противоположной стены, прямая, как всегда, и смотрела на меня через весь зал.

Люди в белом помогли нам подняться и повели к выходу, поддерживая под локти. Я шла и считала шаги, сбиваясь на каждом третьем, и думала о том, что сорок человек сейчас спят в чистых постелях, а потом проснутся, подпишут контракт и поедут домой, в свои Низины. Ольга среди них, и её мама будет встречать её на грузовой платформе. До пятого мая оставалось двадцать восемь дней, а у меня не было сил даже на то, чтобы как следует испугаться.

Глава 5

Палата восстановления занимала весь второй этаж восточного крыла, и в ней стояли шестьдесят кроватей, отделённых друг от друга тонкими белыми занавесками. Нас привели туда сразу после гонга, почти несли под руки, и я не помню, как дошла до своей кровати. Помню только, что медсестра надела мне на голову тонкий белый обруч, такой же, как в первую ночь, и что провод от него уходил в серый блок у изголовья. Помню, что она сказала: «Спите, сколько сможете», и что я хотела ответить, но уже не успела.

Я провалилась в сон, как в колодец, без счёта, без края и без всякой возможности отступить. Впервые за полгода у меня не было сил держаться на границе, и темнота сомкнулась надо мной, тяжёлая и тёплая. В этой темноте не было ни чужих домов, ни Белой Гавани, ни моря, только глубокий, беззвучный покой, которого я не знала с тех пор, как начала ходить к Саве.

Проснулась я один раз, где-то посреди дня, и не сразу поняла, где нахожусь. Свет в палате был приглушённым, занавески вокруг меня колыхались от сквозняка, а за ними двигались тени и негромко звучали голоса. Я лежала с полуоткрытыми глазами и не шевелилась, потому что тело было тяжёлым, как мокрое бельё, а в голове стоял густой туман.

Сквозь щель между занавесками я видела дальний конец палаты, где у стены стоял длинный стол с экранами. Возле экранов собралось человек шесть в белых халатах, и среди них я узнала доктора Ольшанскую по коротким серебристым волосам. Они стояли тесно, плечом к плечу, и смотрели на экраны так внимательно, как не смотрел на нас никто из тех, кого мы видели за семьдесят два часа в зале. Ольшанская что-то показывала пальцем, и остальные кивали.

— Вот здесь видно лучше всего, — услышала я её голос, ровный и чуть возбуждённый. — Первые часы провал, затем отскок. Сорок седьмая восстанавливается быстрее всех, двенадцатый медленнее всех. Остальные между ними, в пределах нормы.

— А тридцать первая? — спросил кто-то.

— Тридцать первую я смотрю отдельно, — ответила Ольшанская. — Там странная картина. Отметьте её для повторного анализа.

Я не знала, кто такая тридцать первая, и не знала, что значат эти часы и отскоки. Глаза у меня снова закрылись сами, и голоса уплыли куда-то далеко, как уплывает берег, когда отходит баржа. Последней моей мыслью было, что врачи следят за нашим сном так, будто сон и есть самое главное испытание.

* * *

Второй раз я проснулась уже вечером, когда за высокими окнами палаты догорал закат. Голова была ясной и лёгкой, тело слушалось, и я лежала, наслаждаясь этим забытым ощущением. Я не помнила, когда последний раз просыпалась отдохнувшей, без тяжести, без пустоты и без чужой боли под рёбрами. Это было так странно, что мне захотелось плакать.

Медсестра сняла с меня обруч и спросила, как я себя чувствую, и я ответила, что хорошо, и это была правда. Она улыбнулась, что-то отметила в маленьком планшете и ушла к соседней кровати. Над изголовьем у каждой кровати висела маленькая табличка с номером, и я подняла глаза на свою. На ней было написано: «31».

Я долго смотрела на эту цифру, и холод медленно поднимался у меня от живота к горлу. Тридцать первую смотрят отдельно, сказала Ольшанская, там странная картина. Я вспомнила январскую сомнограмму, двух врачей, хмурившихся над моей кривой, и медсестру, которая задержала взгляд на моём блоке после первой ночи. Теперь их было шестеро, и они смотрели не на кого-нибудь, а на меня.

Кирилл ещё спал, когда я заглянула к нему за занавеску. Он лежал на спине, раскинув руки, с открытым ртом, и храпел так громко, что медсестры улыбались, проходя мимо. Его

табличка висела над изголовьем, и на ней было написано «12». Я вспомнила, что двенадцатый восстанавливается медленнее всех, и не поняла, насколько это плохо.

За ужином в столовой было непривычно тихо. Шестьдесят кандидатов сидели за столами, ели медленно и почти не разговаривали, словно бессонница всё ещё лежала у каждого на плечах. Сорок пустых мест за соседними столами никто не убрал, и они стояли, накрытые белыми скатертями, как напоминание. Пётр сидел рядом со мной и молча смотрел на пустой стул, где раньше сидела Ольга.

На большом экране в конце столовой показывали лучшие моменты первого этапа. Мы смотрели на себя со стороны: на сто человек в белом зале, на кровати вдоль стены, на тех, кто ложился и кого уносили на руках. Илона Вест говорила за кадром тёплым голосом о мужестве, стойкости и воле, и под её голос картинки казались почти красивыми. Меня показали один раз, мельком, когда мы с Кириллом считали вслух, и Кирилл засмеялся и сказал, что теперь мы знамениты на весь Мерид.

Я смотрела на экран и думала о том, что Илона Вест говорит о выносливости, а врачи весь день стояли не у экранов этапа, а у экранов нашего сна. Во время этапа к нам почти никто не заходил, кроме людей в белом, которые уносили выбывших. Сегодня за нами следили так, будто ждали ответа на главный вопрос. Мне казалось, что я начинаю понимать что-то важное, но мысль ускользала, как рыба из рук.

Гордей появился в столовой, когда ужин уже заканчивался, и медленно прошёл между столами, стуча хромой ногой. Он останавливался возле каждого из нас, кандидатов своих Низин, и коротко кивал, как кивают на перекличке, проверяя, все ли на месте. Возле меня он задержался и спросил, как я спала, и я ответила, что хорошо, впервые за много лет. Гордей посмотрел на меня из-под тяжёлых бровей, долго и как-то странно, а потом наклонился ко мне и сказал, что хорошо спать здесь опаснее, чем плохо, и пошёл дальше, не дожидаясь вопросов.

После ужина нам сказали, что до отбоя можно отдыхать, а завтра объявят условия второго этапа. Кирилл и Артём ушли играть в какую-то игру с картами, которые Артём где-то раздобыл, а я вернулась в свою комнату. Злата уже лежала в постели, отвернувшись к стене, и, судя по ровному дыханию, спала. Её восстановление, видимо, ещё не закончилось, или она просто умела спать при каждой возможности, как советовал Гордей.

* * *

Стук в дверь раздался около полуночи, тихий и короткий. Я не спала, сидела на подоконнике и смотрела на огни Зенита, и от этого стука сердце у меня подпрыгнуло к самому горлу. Злата на своей кровати даже не пошевелилась. Я слезла с подоконника, подошла к двери и приоткрыла её.

В коридоре стоял Роман Ланской. На нём был тот же светлый костюм, только без пиджака, и рукава рубашки были закатаны до локтей, как у его брата во сне. В руке он держал сложенный вдвое лист бумаги. Свет в коридоре был приглушённым, ночным, и лицо его в этом свете казалось старше и усталым.

— Колосова, — сказал он, не переступая порога. — Простите за поздний час. Мне нужно с вами поговорить. Не здесь.

— Кандидатам запрещается выходить после отбоя, — ответила я, сама не зная, зачем это говорю.

— В правилах сказано другое, — поправил он ровным голосом. — Кандидатам запрещается входить в чужие комнаты после отбоя и покидать Обсерваторию без куратора. Мы не сделаем ни того, ни другого. Пойдёмте.

Я вышла в коридор и прикрыла за собой дверь, стараясь не разбудить Злату. Роман пошёл вперёд, и я шла за ним по пустым коридорам, мимо закрытых дверей, мимо снимков восходящих на стенах, которые в ночном свете смотрели на нас пустыми глазами. Он привёл меня в

маленькую комнату в конце коридора, где стояли стол, два стула и шкаф с книгами. Он закрыл дверь, но не сел, и я тоже осталась стоять.

— Вы знаете, что это? — спросил он и развернул лист.

На листе была напечатана длинная ломаная линия, которая шла слева направо, то поднимаясь, то опускаясь. В начале она была рваной и неровной, с острыми пиками и глубокими провалами, как горы на детском рисунке. Потом, примерно с середины листа, она выпрямлялась и шла ровными плавными волнами, одна за другой, без единого сбоя. В верхнем углу листа стояли номер «31» и моя фамилия.

— Это моя сомнограмма, — сказала я. — Восстановительный сон.

— Это ваша сомнограмма, — согласился Роман. — Посмотрите вот сюда. — Он провёл пальцем по рваному началу. — Это первые часы, глубокий провал, как у всех. Потом, ещё до полудня, кривая начинает выпрямляться. Вот здесь вы проснулись и, видимо, что-то увидели или услышали, видите, всплеск. А дальше… — Он провёл пальцем по ровным волнам. — Дальше вот это.

— Что в этом плохого? — спросила я, хотя уже знала ответ.

— Плохого ничего. — Роман положил лист на стол и посмотрел на меня прямо. — Только так не бывает. После семидесяти двух часов без сна сон восстанавливается рывками, по несколько часов, с провалами и отскоками. Я видел шестьдесят записей сегодня, Колосова. У всех они рваные до самого вечера, даже у тех, кто восстановился быстрее остальных. У вас уже через несколько часов кривая стала ровной, как будто вы и не теряли этих трёх суток. Ваша кривая слишком ровная.

Я молчала, потому что не знала, что сказать. Он смотрел на меня, и в его взгляде не было ни угрозы, ни любопытства, только напряжённое внимание человека, который решает трудную задачу. Я посмотрела на его руки и увидела, что пальцы правой руки медленно постукивают по краю стола, раз за разом, одним и тем же ритмом.

— Может быть, я просто хорошо сплю, — сказала я. — Меня поэтому и выбрали, разве нет?

— Вас выбрали за хорошую январскую сомнограмму, — ответил он. — Я её тоже видел. Она странная, но не настолько. Тогда врачи решили, что это ошибка записи. Сегодня это уже не похоже на ошибку.

— Почему вы мне это показываете? — спросила я. — Вы же куратор. Вы должны отнести это специалистам, а не мне.

Роман долго молчал, глядя на лист. Пальцы его перестали стучать, и он сжал руку в кулак, а потом медленно разжал её. Я поняла, что он и сам не знает точного ответа или знает, но не может сказать.

— Специалисты уже видели, — сказал он наконец. — Доктор Ольшанская отметила вас для повторного анализа. Мне стало интересно, почему. Я хочу понять, что с вами не так, раньше, чем это поймут другие.

— Со мной всё так, — сказала я, и мне самой не понравилось, как это прозвучало.

— Вы когда-нибудь продавали сон? — спросил он без всякого перехода.

— Нет, — ответила я. — Мне шестнадцать. Это запрещено.

— Многое запрещено, — сказал Роман, и в его голосе мне послышалась странная нотка, почти горечь. — Это никому не мешает. В Низинах продают с четырнадцати, с тринадцати, я читал отчёты Надзора. На чёрном рынке, в подвалах, через нелегальные узлы. Вы никогда не спускались в такой подвал?

Я смотрела на него и думала о том, что он сам спускался в такой подвал, пусть не ногами, а своим обручем и своей ночью. Он купил мою ночь у Савы, он лежал в белом доме и отдавал мне свою боль, и теперь стоял передо мной и спрашивал, бывала ли я в подвалах. Мне хотелось

рассмеяться ему в лицо, и мне хотелось рассказать ему всё, и я не могла сделать ни того, ни другого.

— Никогда, — сказала я. — Я работала в сушильне корпуса, господин куратор. Три кредита за смену. Вы можете проверить.

— Я проверил. — Он опустил глаза на лист. — Вы работали в сушильне. Это правда.

Мы стояли друг против друга в маленькой комнате, и между нами лежал на столе лист с моей кривой. Я видела, что он мне не верит, и он видел, что я это вижу. Пауза тянулась и тянулась, и я слышала, как где-то в здании тихо гудят трубы, совсем как в подвале у Савы.

— Что вам снилось сегодня? — спросил он.

— Ничего, — ответила я. — Я спала как убитая. Первый раз за много лет.

Это была правда, и, может быть, поэтому он отвёл глаза. Он смотрел в тёмное окно, за которым светились башни Зенита, и молчал так долго, что я решила, что разговор окончен. Потом он снова посмотрел на меня, и в его лице что-то изменилось, совсем немного, как меняется вода, когда под ней проплывает рыба.

— Первый раз за много лет, — повторил он. — Почему за много лет? Вам шестнадцать. Что мешало вам спать все эти годы, Колосова?

Я поняла, что проговорилась, и кровь отхлынула от лица. Он заметил это, конечно, заметил, потому что смотрел на меня так, как смотрят на карту, отыскивая на ней дорогу. Мне нужно было ответить что-то быстро, и я ответила первое, что пришло в голову, и это тоже было правдой, только не всей.

— Сорок человек в одной спальне, — сказала я. — Кашель, храп, младшая соседка скрипит зубами всю ночь. Мама больна, она иногда встаёт ночью и не помнит, где находится. Брату одиннадцать, ему снятся кошмары. Вы когда-нибудь спали в спальне на сорок коек, господин куратор?

Роман смотрел на меня несколько секунд, а потом едва заметно покачал головой. Что-то в его лице дрогнуло, и мне показалось, что ему стало стыдно, хотя я не могла понять, за что именно. Он взял со стола лист с моей кривой, медленно сложил его вчетверо и убрал в карман рубашки.

— Нет, — сказал он. — Не спал.

— Вот поэтому, — ответила я.

Он кивнул, словно принял мой ответ, хотя я видела, что не принял. Он подошёл к двери, открыл её и пропустил меня вперёд, вежливо, как пропускают даму на приёме. Мы шли обратно по тем же тёмным коридорам, мимо тех же снимков, и молчали, и я слышала, как стучат его шаги рядом с моими.

У двери моей комнаты он остановился и посмотрел на меня сверху вниз. Свет ночной лампы падал ему на лицо сбоку, и я вдруг увидела в нём того юношу из сна, который стоял на коленях у кресла и держал брата за плечи. Это длилось всего секунду, а потом лицо его снова стало вежливым и спокойным, как у отца.

— Будьте осторожны, Колосова. — Он бросил взгляд вдоль пустого коридора. — Здесь смотрят очень внимательно. Гораздо внимательнее, чем вам кажется.

— Это угроза? — спросила я.

— Это совет, — ответил Роман. — Спокойной ночи.

Он ушёл, и его шаги затихли в конце коридора. Я вошла в комнату, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, потому что ноги вдруг перестали меня держать. Злата спала, отвернувшись к стене, и её дыхание было ровным и тихим. Возможно, она только делала вид, что спит, подумала я и сама удивилась этой мысли.

Я легла в постель и долго смотрела в потолок, где плясали отсветы далёких огней. Он знал, что со мной что-то не так, и он не отнёс мою кривую отцу, а принёс её мне. Он спрашивал про подвалы, хотя сам купил ночь из подвала Савы, и стыдился чего-то, когда я рассказала про

спальню на сорок коек. Я не понимала, чего он хочет, и это пугало меня больше, чем лист с ломаной линией.

Теперь я знала главное, то, что ускользало от меня весь вечер. Врачи смотрели не на то, как мы выдерживаем бессонницу, а на то, как мы спим после неё. Восхождение мерило не силу и не волю, о которых так тепло говорила Илона Вест, а что-то совсем другое, спрятанное в ломаных линиях на экранах. Я не знала, зачем «Гипносу» знать, как быстро восстанавливается сон у детей из Низин, но чувствовала, что от ответа на этот вопрос зависит гораздо больше, чем моё Восхождение.

До пятого мая оставалось двадцать восемь дней. Я тронула висок, где ещё оставался след от тонкого обруча, и подумала о маме, которая шептала мне не засыпать при них. Сегодня я по-настоящему заснула при них впервые за всё время, и они сразу это увидели.

* * *

Утром восьмого апреля нас посадили в тот же белый вагон монорельса и повезли вниз. Никто не объяснял куда, и шестьдесят кандидатов сидели молча, глядя, как за окнами уходят назад сады и стеклянные башни. Потом пошли аккуратные крыши Пояса, потом серые кварталы Низин, и я узнала дым над заводами раньше, чем узнала сами заводы. Кирилл сжал мою руку, когда за окном мелькнула река.

С монорельса нас пересадили на грузовые платформы, и они поползли вдоль реки на юг, мимо Шестой Низины, мимо нашей Седьмой, мимо водокачки, которую я увидела издалека и не смогла отвести от неё глаз. Где-то там, в корпусе семь-четырнадцать, Тим сейчас сидел перед окном в общем зале и смотрел трансляцию. Я подумала, что он, наверное, видит сейчас эту платформу и меня на ней, и мне захотелось помахать ему, но я не знала, где камера.

Платформы остановились за старой насосной станцией, там, где кончалась наша Седьмая и начинались Нижние Шлюзы. Сюда почти никто не ходил уже лет тридцать, с тех пор как река прорвала дамбу и затопила целый квартал до четвёртых этажей. Даже мы с Кириллом, выросшие рядом, никогда не забирались дальше заводи у насосной. Дома стояли в воде, как больные в холодной ванне, окна смотрели пустыми провалами, а между ними тянулись мутные каналы, в которых плавал мусор. Далеко впереди, на краю квартала, где река расширялась в серую заводь, поднималась тонкая башня из красного кирпича с застеклённым фонарём наверху.

Нас выстроили на бетонной площадке у края воды, и старший куратор Строговская вышла вперёд. Ветер трепал её седые волосы, но голос был таким же сухим, как в зале. За её спиной, на крышах ближайших домов, я заметила неподвижные фигуры в серой форме Надзора.

— Второй этап называется «Шлюзы», — сказала Строговская. — Перед вами затопленный квартал. В конце квартала находится маячная башня. Задача — добраться до неё до заката. Первые тридцать пять кандидатов, которые поднимутся в фонарь башни, проходят этап.

— А что мешает просто дойти? — спросил кто-то.

— Загонщики, — ответила Строговская и кивнула на фигуры на крышах. — Сотрудники Надзора отдыха будут вас преследовать. Кандидат, пойманный в сеть, выбывает. Покидать территорию квартала запрещено. Других правил нет.

Других правил нет, повторила я про себя и посмотрела на загонщиков. Их было, наверное, человек двадцать, и у каждого на плече висел короткий толстый ствол, такой же, как у того надзорщика на крыше в ночь облавы. Я вспомнила хлопок, серую сеть с грузиками и разбитое колено Даши, и мне стало холодно, хотя солнце уже поднималось над рекой.

Над нашими головами с тихим стрекотом пролетела маленькая машинка с прозрачными крыльями и красным глазом посередине. За ней ещё одна, и ещё, и через минуту в воздухе над площадкой висел целый рой таких машинок. Гордей рассказывал нам про них ещё в Седьмой: это были летучие камеры, которые в Зените называли стрекозами, и через них весь Мерид будет смотреть, как мы бежим.

— Старт по сигналу, — сказала Строговская. — Загонщики начинают через десять минут после старта. Удачи.

Сигнал прозвучал резко, как выстрел, и шестьдесят человек бросились к воде. Большинство побежало по узкой бетонной дамбе, которая тянулась вдоль квартала к башне прямой полосой. Это была самая короткая дорога, и я сразу поняла, что именно там загонщики будут ждать в первую очередь.

— Крыши, — сказала я Кириллу. — По дамбе нас переловят, как рыбу.

— Я уже понял, — ответил он и показал на ближайший дом, у которого с торца висела ржавая пожарная лестница. — Туда, а дальше по верху. Как дома, Колосова.

Мы полезли наверх, и лестница застонала под нами точно так же, как стонали лестницы в Седьмой Низине. Сверху квартал оказался похожим на наш, только старше и разрушеннее. Крыши стояли тесно, где-то плоские, где-то покатые, между ними тянулись провода, трубы и обрушенные мостики. Внизу в каналах блестела вода, а впереди, над всем этим, поднималась красная башня, и до неё было, по моим подсчётам, двадцать восемь крыш.

Мы бежали, и я считала крыши, как считала их всегда. Первая, вторая, третья, прыжок через узкий провал, четвёртая, пятая, мостик из двух досок, который Кирилл перебежал за три шага, а я за пять. Ветер с реки бил в лицо, пахло ржавчиной и гнилой водой, и над нами всё время стрекотали стрекозы, следуя за каждым нашим движением.

На седьмой крыше мы остановились, чтобы осмотреться. Отсюда было видно дамбу, и я увидела, как там уже бегут первые загонщики, а впереди них рассыпаются кандидаты. Раздался хлопок, потом ещё один, и над дамбой развернулись серые сети. Кто-то закричал, кто-то прыгнул в воду, и мы видели, как загонщики вытаскивают из сетей барахтающихся людей и ведут их к лодкам.

Среди тех, кого вели к лодкам, я узнала высокую сутулую фигуру Петра Карасёва. Сеть накрыла его на самом краю дамбы, и он не барахтался, как другие, а стоял неподвижно, опустив руки, пока загонщики выпутывали его из серых ячеек. Потом он поднял голову и посмотрел в нашу сторону, на крыши, словно знал, что мы там. Я вспомнила его бабушку, которая почти ничего не видит, и соседнюю с ней койку, на которую он теперь ляжет не в августе, а через несколько дней.

— Восемь человек за пять минут, — сказала я. — Они их даже не ловят, они их собирают.

— Нам туда не надо, — ответил Кирилл и потянул меня дальше. — Бежим, пока они заняты.

Следующие крыши оказались гораздо хуже прежних. Девятый дом оказался с провалившейся кровлей, и нам пришлось обходить его по самому краю парапета, прижимаясь к трубе. На одиннадцатом мостик через канал обрушился давным-давно, и мы спустились по наружной лестнице до самой воды, а потом перебрались на другую сторону по затопленному балкону, держась за ржавые перила. Вода там доходила мне до пояса и была такой холодной, что перехватывало дыхание.

Сквозь балконную дверь я увидела комнату, в которой когда-то жили люди. Вода стояла в ней до подоконников, и на её мутной поверхности плавали размокшие книги, детский башмак и деревянная лошадка с облезлой гривой. На стене над водой ещё висел выцветший снимок в рамке: мужчина, женщина и девочка лет пяти, все трое улыбались, щурясь от солнца. Я подумала, что эти люди, наверное, переселились в дортуары тридцать лет назад, и что девочка с фотографии сейчас почти ровесница моей мамы и, может быть, тоже сидит на койке и смотрит на свои руки.

Мы выбрались на противоположную сторону, мокрые, дрожащие, и полезли наверх по водосточной трубе. Где-то на середине я поскользнулась и повисла на одних руках, и Кирилл сверху схватил меня за запястье и втащил на карниз. Мы сидели на карнизе, тяжело дыша, и смотрели друг на друга, а потом он вдруг засмеялся, и я засмеялась вместе с ним.

— Как в двенадцать лет, — сказал он. — Помнишь первую крышу?

— Помню, — ответила я. — Ты тогда тоже меня тащил.

— И буду тащить, — сказал Кирилл. — Всю жизнь буду тебя тащить, Колосова, пока ты не научишься прыгать.

На пятнадцатой крыше мы увидели Злату. Она бежала одна, метрах в ста впереди нас, по параллельной цепочке домов, быстро и легко, как будто всю жизнь только и делала, что бегала по затопленным крышам. Она прыгала через провалы не раздумывая и ни разу не остановилась, чтобы посмотреть назад.

— Она нас обгонит. — Кирилл проводил её взглядом и уважительно покачал головой. — Она всех обгонит.

— Пусть, — ответила я. — Нам не нужно быть первыми, нам нужно быть в тридцати пяти.

Загонщики появились неожиданно, на лодке, которая вывернула из-за угла по каналу прямо под нами. Их было трое, в серой форме, и у одного на плече лежал сетемёт. Он поднял голову, увидел нас и вскинул ствол, и я дёрнула Кирилла за рукав вниз, за парапет.

Хлопок раздался снизу, сеть пролетела над нами и легла на крышу в двух шагах, накрыв вентиляционную будку. Грузики глухо стукнули по рубероиду. Мы лежали за парапетом, прижавшись к мокрой кровле, и слышали, как внизу переговариваются загонщики.

— Двое на крыше, — сказал один ровным голосом. — Поднимаемся с торца.

— Нет, — ответил другой. — Пусть бегут к башне. Там их возьмёт вторая группа. Нам этот сектор зачищать.

Лодка ушла, и мы долго лежали, не решаясь поднять головы. Потом Кирилл осторожно выглянул и показал, что всё чисто, и мы побежали дальше, пригибаясь за трубами. Я думала о словах загонщика про вторую группу у башни и понимала, что самое трудное ещё впереди.

Крик раздался, когда мы были на девятнадцатой крыше. Он был коротким и пронзительным, и за ним последовал глухой удар, а потом всплеск. Кричали совсем рядом, на этой же крыше, которая провалилась посередине, оставив чёрную дыру с рваными краями.

Мы подбежали к краю и заглянули вниз. Сквозь дыру было видно лестничную клетку, уходящую вниз, к воде, и на площадке четвёртого этажа, у самой воды, лежал парень в светлой одежде кандидата. Он лежал неестественно, на боку, одна нога у него была подвернута, а вокруг по мутной воде расплывалось тёмное пятно. Он стонал, тихо и тонко, как раненая собака.

— Это из Второй, — сказал Кирилл. — Я его помню, он сидел позади меня в зале. Лев, кажется.

— Он сломал ногу, — сказала я. — И, кажется, порезался. Там внизу вода, он может захлебнуться, если потеряет сознание.

Над дырой зависли три стрекозы, их красные глаза смотрели вниз, на парня на площадке. Они висели неподвижно, и я поняла, что сейчас весь Мерид смотрит на него вместе с ними. Никто не спешил к нему, ни загонщики, ни люди в белом, которые так бережно уносили выбывших из зала в первый этап.

— Нам нужно идти, — сказал Кирилл, и голос у него был напряжённым. — Колосова, до башни ещё девять крыш, а солнце уже за полдень. Его подберут, тут камеры везде.

— Никто его не подберёт, — ответила я. — Посмотри на стрекоз. Они смотрят, а не помогают.

— Мария. — Кирилл взял меня за плечи и повернул к себе. — Это испытание. Здесь никого не спасают. Если мы останемся, нас поймают, и тогда твой брат получит долг пятого мая. Ты этого хочешь?

Я смотрела на него, и в его глазах было то же, что и в моих: страх, усталость и отчаянное желание дойти. Он был прав, и я это знала, и от этого было ещё хуже. Внизу парень по имени

Лев снова застонал и попытался приподняться, но рука его соскользнула, и он упал обратно, лицом почти в воду.

— Иди, — сказала я. — Кирилл, иди к башне. Я спущусь к нему.

— С ума сошла? — Он вцепился в мои плечи сильнее. — Одна ты не успеешь! Тебя поймают!

— Тогда иди ты, — повторила я и сбросила его руки. — Тебе нужно пройти. Ты всю жизнь об этом мечтал. Иди, пока есть время!

Кирилл стоял, глядя на меня, и я видела, как в нём борются два человека: тот, что с двенадцати лет мечтал о Зените, и тот, что тащил меня на каждой крыше. Потом он сжал зубы, развернулся и побежал к краю крыши. Он прыгнул на соседний дом, не оглянувшись, и скрылся за трубами, а я осталась одна над чёрной дырой, и над моей головой стрекотали стрекозы.

Я спустилась по обломкам перекрытия, цепляясь за торчащие балки и ржавую арматуру. Лестничная клетка была тёмной и сырой, пахло плесенью и гнилым деревом, а с потолка капала вода. До площадки четвёртого этажа было метров пять, и я преодолела их медленно, проверяя каждую опору, потому что знала: если упаду сама, мы оба останемся здесь.

Лев лежал у самой воды и смотрел на меня мутными глазами. Ему было шестнадцать, как и всем нам, но сейчас он казался совсем ребёнком, худым, бледным и испуганным. Правая нога у него лежала под неправильным углом, а на бедре, сквозь разорванную ткань, сочилась кровь из длинной рваной раны, оставленной, наверное, торчащей арматурой.

— Не трогай, — прошептал он, когда я наклонилась. — Больно. Очень больно.

— Я знаю, — сказала я. — Потерпи. Мне нужно вытащить тебя повыше, тут вода.

Я подхватила его под мышки и потащила вверх по ступенькам, на площадку выше, где было сухо. Он закричал, и крик эхом заметался по лестничной клетке, отражаясь от стен. Я тащила его, считая ступеньки, одну, две, три, и не останавливалась, хотя руки дрожали и его крик резал мне уши. На сухой площадке я уложила его на спину и села рядом, задыхаясь.

Кровь всё ещё текла из раны на бедре, медленно, но упрямо. Я оторвала полосу от подола своей светлой рубашки, сложила её в несколько раз и прижала к ране, а потом обмотала второй полосой и затянула узел, как учила нас школьная медсестра. Лев застонал сквозь зубы и вцепился в мою руку так, что ногти впились мне в ладонь.

— Как тебя зовут? — спросила я, чтобы отвлечь его. — Кирилл сказал, что Лев.

— Лев Чижов, — прошептал он. — Вторая Низина. У меня мама и две младшие. Я должен был…

— Как их зовут? — спросила я. — Твоих младших.

— Нюта и Варя, — ответил он, и лицо у него на секунду разгладилось. — Нюте девять, Варе шесть. Варя всё время спрашивает, правда ли, что в Зените на деревьях растут конфеты.

— Ты ещё сможешь, — сказала я, хотя мы оба знали, что это неправда. — Лев, слушай меня. Давай считать вместе. Раз.

— Два, — прошептал он, и губы у него дрожали. — Три.

Мы считали вместе, и я держала его за руку, а над дырой в крыше висели стрекозы и смотрели на нас красными глазами. Я подняла голову и закричала им, что здесь раненый, что ему нужен врач, что он истекает кровью. Стрекозы даже не шевельнулись в ответ. Они висели в воздухе неподвижно, и мне показалось, что они слушают мой крик с вежливым вниманием, как слушала женщина за стеклом на станции.

Солнце сквозь дыру в крыше опускалось всё ниже, и полоса света на стене лестничной клетки становилась длиннее и желтее. Я считала минуты и понимала, что Кирилл уже, наверное, добрался до башни или почти добрался. Я понимала, что тридцать пять мест заполняются одно за другим, и что каждая минута здесь отнимает у Тима ещё один шанс. Я сидела и держала Льва за руку, потому что не могла иначе.

Я не винила Кирилла и знала, что никогда не смогу его винить. Он сделал то, что я сама ему велела, и то, что сделал бы любой разумный человек на его месте, а разумной в нашем споре была только его половина. Где-то впереди, у красной башни, он сейчас бежал по последним крышам или уже поднимался по лестнице в фонарь, и я надеялась, что он поднимется. Одного из нас это Восхождение всё-таки должно было пропустить наверх.

Потом снизу, из затопленного провала лестницы, донёсся плеск вёсел. По воде скользнул жёлтый луч фонаря, ударил в стену, пополз вверх по ступенькам. Я услышала негромкие ровные голоса, и один из них сказал: «Здесь двое, сигнал с камер». Лев вцепился в мою руку и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами.

— Уходи, — прошептал он. — Уходи же. Тебя поймают из-за меня.

Я смотрела вниз, на жёлтый луч, который полз по ступенькам всё выше, и на тень человека с коротким толстым стволом на плече. До пятого мая оставалось двадцать семь дней, до заката, наверное, час. Я не двинулась с места и только крепче сжала руку Льва Чижова.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.